

**с. токарев**

еще  
в полях  
белеет  
снег...



**С. Токарев**

еще  
в полях  
белеет  
снег...

**Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“. 1966**

# ВАКАНТНОЕ МЕСТО

Две повести.  
В основном —  
о спортсменах

Еще  
В полях  
белеет  
снег...



Анна Семеновна Белоног подписывала свои статьи и корреспонденции псевдонимом «А. Ясная». Этот псевдоним следовало придумать, даже если бы он не был ее девичьей фамилией. Очень уж шел он ко всему облику Анны Семеновны, облику тихой и спокойной сорокалетней женщины, спокойной и по характеру и благодаря нехлопотливой, обеспеченной жизни.

Сразу после окончания института физкультуры Анна Семеновна вышла замуж за полковника Белонога, кадрового строевика, прошедшего войну в общем счастливо — в Берлин он вошел командиром танкового полка, с пятью орденами и тремя нашивками за ранения, из которых только одна была золотистой. К моменту знакомства с Аней Ясной Белоног вдовел третий год. Рослый мрачноватый тридцатипятилетний полковник с рыжим чубом, присыпанным сединой, разительно отличался от Аниных однокурсников — все, что он говорил и делал, было деловито-естественным, а делал и говорил он именно то, что нужно, и ровно столько, — и любой из институтских спортсменов (а среди них тоже встречались бывалые фронтовики) казался по сравнению с ним в большей или меньшей степени напыщенным, развязным и шумным.

Вскоре после знакомства Белоног явился на квартиру к Аниным родителям с большим букетом сирени, откашлялся, ослабил ворот мундира и проговорил скупые слова предложения. А уже через неделю Аня, тихо робеющая и перед мужем и перед своими новыми женскими обязанностями, еха-

ла скорым поездом в Среднюю Азию, куда получил назначение полковник.

У них родился сын. И если поначалу семейные заботы и сложные взаимоотношения с женами сослуживцев полковника — взаимоотношения, которые тоже регламентировались военными знаками различия мужей, — поглощали все Анино время, то еще через два года ей сделалось скучно. Мальчик рос здоровым и ходил в ясли, хлопоты о продуктах, как и прочие хозяйственные хлопоты, в армейском городке ложились на плечи АХЧ, а в еде Белоног был неприхотлив и до обидного исправно съедал все, что ни дай, читая при этом газету и делая пометки толстым красным карандашом.

Занятие для Ани нашлось неожиданно. Однажды ей очень понравился самодеятельный спектакль в клубе части, и муж, которому она прожужжала уши своими восторгами, посоветовал написать об этом спектакле заметку в окружную газету. Заметка была напечатана, а жена полковника Белонога получила любезное письмо за подписью главного редактора. В письме Аню просили сотрудничать в газете и дальше. И она начала писать — сперва крохотные информушки, потом побольше, и, наконец, расхрабрившись и вспомнив свои прежние физкультурные познания, в пух раскритиковала гимнастические соревнования на первенство части. После этого ее акции в газете резко поднялись, редактор пригласил ее приехать, представил общему собранию, состоявшему из пенсионного возраста майоров и бойких вольнонаемных девиц, похвалил, назвал самородком и вручил удостоверение внештатного корреспондента. Николай Иванович Белоног, которому

Аня за обедом, скромненько теребя скатерть, пересказала речь главного, насупился, привычно взъерошил чуб, ставший к тому времени из золотого тускло-серебряным, и сказал ей, чтобы она не зазнавалась, что работа в советской печати — дело ответственное, и что она, Аня, теперь должна еще более серьезно смотреть на жизнь и на окружающих ее людей и умно выбирать себе подруг, а не судачить с гарнизонными клушами. «Ты мне показывай свои писания, я буду тебе помогать», — добавил он в заключение непривычно длинной своей речи. Он был доволен.

Кстати, и сам Белоног с пользой провел годы службы в округе. Он происходил из тех неторопливых и методичных украинских селян, которых армия наиболее успешно перековывает в дельных и ревностных службистов. Он получил повышение, затем был командирован в Москву, на учебу в академию, и, окончив ее, остался на работе в генеральном штабе. Поняв однажды, что жене необходима собственная, отдельная от него жизнь, он решил поддерживать эту жизнь и организовывать ее настолько, насколько это от него зависело. Вскоре после переезда в Москву прежний его однополчанин, ныне один из руководителей управления физической подготовки Министерства обороны, по его просьбе рекомендовал Аню литературным сотрудником в ежемесячный журнал «Гимнастика».

Разумеется, Анна Семеновна в начале своей работы была по-журналистски совершенно неопытной. Но черты характера, воспитанные в долгую бытность женой военного: спокойствие, умение где надо подчиниться и где надо настоять на своем, терпеливость

к раздражающим мелочам и душевная ясность — словом, то, что нужно от жены человеку, которого в любой час могут поднять по тревоге, в любой день приказать собрать чемоданы и катить за тысячи верст, человеку, устающему, порой суровому и всегда озабоченному, — короче, военному человеку — все эти черты помогли Анне Семеновне стать для ее новых сослуживцев добрым и полезным товарищем.

В тот день, с которого начинается рассказ, Анна Семеновна пришла на работу несколько позже обычного. Вообще в журнале не считалось зазорным опаздывать. За исключением понедельника, в который редактор проводил с утра совещания (а проводил он их непременно, даже если никаких важных дел не было, — это, как он считал, дисциплинирует подчиненных), во все другие дни коллектив работал ни шатко ни валко, к чему располагал медлительный и вяловатый ритм выпуска ежемесячного тоненького журнала. Но Анна Семеновна являлась точно к десяти, открывала окно, чтобы выветрить табачный дым, осевший под потолком еще с вечера, и вытряхивала из пепельниц окурки, регулярно забываемые здесь молодой торопливой уборщицей.

Рядом с дверью редакторского кабинета, склонившись над своим невероятно забарахленным столом (у Анны Семеновны давно чесались на него руки) и зло сжав маленький рот, выводил очередной заголовок художественный редактор Гриша Карпенко.

— Здравствуйте, Гриша, как вашей дочке — лучше? — мелодичным голосом спросила Анна Семеновна. Голос у нее был и впрямь удивительный — словно дальний высокий колокольчик.

Гриша поднял голову, изо всех сил наморщил



лоб, заставляя Анины слова дойти до своих замороженных мозгов.

— А? Да, лучше. Здравствуйте.

— Шеф у себя?

— Что? Да, у себя. Вы о шефе? Кажется, да.

И Гриша, вонзив рейсфедер в банку с тушью, снова кинулся войной на заголовок. Он обладал необычайной способностью создавать себе максимальную загруженность в дни полного редакционного безделья.

Анна Семеновна вошла в кабинет. Сергей Прокофьевич Фомин разговаривал по телефону. Судя по выражению его лица, озабоченному и хитроватому одновременно, разговаривал он с начальством, предъявлявшим журналу какие-то претензии, а он, Фомин, уже нашел неотразимый контрдовод, из тех, на которые был великий мастер. Он махнул ей свободной рукой на мягкое кресло: садись, мол, обожди, я сейчас. Трубку он положил, крепко и плавно надавив ею на рычаг, словно промакнул пресс-папье собственную резолюцию на официальной бумаге.

— Слушаю тебя, дорогая Анна Семеновна. Что там у тебя?

— Сергей Прокофьевич, — осторожно начала она, — пришла повиниться. Ругать будете?

— Смотря за что. Скорее всего буду.

Фомин был в добром расположении.

— Очерка о тренере не получается. Я записала в план кандидатуру Туринцева. А о нем нехорошо отзываются. Говорят, у него неблагополучно по моральной линии.

Анна Семеновна рассказала редактору о том, что сегодня утром побывала в спортивном клубе, где

работает тренер Туринцев. О том, что председатель совета клуба, пожилой, розовый и бодрый, словно являвший собою живой тезис «Физкультура — путь к долголетию», узнав о ее выборе, заулыбался, играя ямочками на щеках: «Ну что ж, достойная кандидатура, молодой, понимаете ли, энтузиаст. Но хотелось бы без захваливания, наоборот, с указанием недостатков. Товарищ иногда бывает излишне резок. А так — вполне. Лично у меня возражений нет». И председатель еще раз показал свои ямочки: «Погода, смотрите, стоит, можно сказать, благодатная. Я с сегодняшнего дня решил пешочком на работу ходить — может, тоже отразите в порядке, хе-хе, — он подмигнул и стал похожим на поролонового дедмороза, — в порядке пропаганды опыта?» И о том она еще рассказала, что во время разговора кудрявый лысеющий блондин-инструктор вошел по каким-то своим делам в комнату и быстро прислушался. И потом в коридоре, у пыльной стенгазеты, посвященной Восьмому марта, а следовательно, двухмесячной давности, этот инструктор мягко поймал Анну Семеновну за локоток. И, усадив на диван, прикрыв рот ладошкой, сказал, что он очень извиняется за вмешательство не в свои дела, но хотел бы дать один совет. «Пусть это останется между нами, но я, как в некотором роде коллега, — я ведь тоже иногда пишу в газетах и журналах, — я не рекомендовал бы вам останавливаться именно на этом человеке. Дело в том, что... как бы это поточнее вам выразить? Словом, в его секции имеется нездоровая обстановка. Я думаю, окажись вы, простите, пожалуйста, на месте девушек, вам бы тоже было не совсем приятно, если бы ваш тренер гастролировал вокруг ка-

кой-нибудь одной, а на остальных — абсолютный ноль внимания и даже меньше». Анне Семеновне стало неприятно другое — то, что юркий блондин-инструктор душно нашептывал ей о каких-то грязных делах и даже пытался ставить ее на место участниц этих дел. Блондин был ей противен, а председатель показался симпатичным, и она инстинктивно склонялась к тому, чтобы принять сторону председателя. Но довериться в этом деле интуиции, впечатлению она не решилась. Очерк есть очерк, материал положительный, и герой даже с малейшим пятнышком для него не годился. Это она и сказала своему редактору.

Сергей Прокофьевич стиснул сухое иконописное лицо маленькими своими ладонями и требовательно и весело уставился на свою подчиненную.

— Сколько раз буду вам всем повторять — не приходите ко мне с разными слухами. Ваши сто рублей платят вам за то, чтобы вы архитщательно, наистрожайшим образом проверяли факты. Аморален этот ваш Туринцев, нарушает он законы и нормы — будем выступать. Нет — за что же пачкать человека? Идите, узнавайте, говорите с руководством. В общем давайте, давайте, давайте! — Он покрутил кулачком.

В большой комнате, где помещались столы всех заведующих отделами и литсотрудников, не было никого, кроме специального корреспондента Германа, который сидел за пишущей машинкой, насвистывал последнюю песенку Окуджавы и печатал подпись под фотографию. Свистел Герман громко, красиво и умело, а печатал неумело, одним пальцем. Машинистка Верочка умчалась в магазин дамской

обуви — он помещался напротив редакции, и это было для коллектива настоящим бедствием, потому что Верочка часами там пропадала, тоскуя у полок, а заметки и письма лежали непечатанными. Но Герман, как человек холостой и наиболее поддающийся белокурому обаянию Верочки, добровольно согласился отшлепать подпись и вдобавок последить за наружной дверью — редакция помещалась на первом этаже, и сюда все время врываются плохие мальчишки с поцарапанными носами и хрипылыми возгласами: «Дядь, у вас марок нет?»

Анна Семеновна села за свой стол, на свой стул — уютный и мягкий, привезенный из дому, и принялась копаться в ящиках, перебирая и наново аккуратно укладывая старые черновики, газетные вырезки, постановления разных совещаний и прочее, чего она никогда не выбрасывала, а собирала, и поэтому в ее архиве можно было отыскать что угодно, получить любую справку, и этим пользовались все остальные работники редакции. С перебирания и перекладывания бумажек начинался рабочий день Анны Семеновны — это было вроде домашней утренней приборки.

Герман поднял на нее глаза, радостно потер ладонь о ладонь — уютный вид Анны Семеновны всегда вызывал в нем ответное уютное довольство не чем-нибудь, а вообще — и раскатился удивленной цокающей трелью.

— Какая брошка, умереть — уснуть! Анечка, дайте поносить.

— Оглушил совсем, — Анна Семеновна кокетливо зажала уши. — И брошка-то старая, сто лет ей уже. Не замечаете. Вы мне лучше вот что ска-

жите, Гера. Вы не знаете Туринцева, тренера из клуба «Рассвет»?

— Тоську? — Герман знал всех и вся. — Хороший парень. А что?

— А то. Подвел меня ваш Тоська. Хотела очерк о нем писать. А у него какие-то романы с девочками.

— Ну-у, — Герман недоверчиво посмотрел на Анну Семеновну. — Вряд ли. Тоська — твердокаменный холостяк, и девочки в его жизни занимают вот... — Он показал на ногте совсем крошечный «вот». — Ну, а если и романы, что тогда? Живой человек, это вам даже для антуража...

— Если бы с чужими. А то в собственной секции.

— Сплошной наив, — Герман всезнающе скривил губы. — Покажите мне хоть одного тренера, который работает с женщинами и про которого не трепали бы. Ну, а даже если и так — я лично не осуждаю. Главное, чтоб тихо.

— Послушайте, Гера, вы не можете узнать что-то поточнее? Понимаете, это все слухи, а надо точнее.

Герман вопросительно качнул головой на стену редакторского кабинета. Анна Семеновна развела руками.

— Н-да... Бедняга Тоська. Эх, зря вы, Анечка, в это дело... Ну, мне-то что, я могу, пожалуйста.

Он быстренько соединился по телефону с каким-то начальством, напористо назвал его на «ты» и «стариком» (это была его манера разговора с любым начальством, исключая собственное), осведомился о каких-то лесках, которые то начальство должно было достать Герману для другого, и под конец как бы мимоходом спросил, не слышал ли его собесед-

ник, правда ли, что Тоська Туринцев «клеит своих пацанок». Слышал? А что слышал? А подробнее? Но есть такое впечатление? Да нет, это ему, Герману, не для журнала. Вообще. Для познания жизни. Салют.

В тот же день Анна Семеновна направилась на прием к руководству — не самому главному, но все-таки. Руководящий товарищ был молод и щеголеват, но не добротным, солидным и неброским щегольством ответработника, а спортивным — он сам недавно оставил спорт и донашивал купленные за границей яркие свитеры в обтяжку. Вначале он слушал Анну Семеновну, не снимая руки с телефонной трубки и показывая этим свою занятость, потом снял руку и, наконец, когда телефон позвонил сам, хлопнул трубкой о рычаг. Мальчишеским голосом, но с перенятой у кого-то медлительной, раздумчивой интонацией он сказал, что сигналы такие есть. Есть сигналы. Но дело не разбиралось. Еще нет. Так что в печати выступить можно. Даже нужно. Будет даже помощь. И внимание к моральным вопросам, которое журнал проявляет редко. Да, редко. К сожалению, редко.

Никаких, ни малейших сигналов о тренере Туринцеве у этого начальника не было. Он и фамилию-то с трудом вспомнил. Да, кажется, есть такой Туринцев. В очках. Или не в очках. Неважно. Важно не показать себя неосведомленным. Очень хорошо — пусть журнал проявит инициативу. А мы разберемся. В случае чего поправим. На прощание товарищ крепко пожал Анне Семеновне руку и, когда она смор-

шила от боли, довольно улыбнулся. Показывать рукопожатием свою силу было привычкой, унаследованной от спорта.

Затем Анна Семеновна поехала в спортивный зал, где вел занятия Туринцев. На счастье, давешний лысоватый инструктор попался ей в вестибюле. На счастье, потому что она абсолютно не представляла себе, как, с кем и о чем будет здесь разговаривать. Инструктор разулыбался, помог снять пальто и, строго округлив глаза, прикрикнул на нянечку, заворчавшую было, что нет свободных мест. «Вы, товарищ Ясная, подождите здесь, сейчас мы все мигом». Нырнул в гулкую дверь зала и через минуту вернулся вместе с хорошенькой белокурой девушкой в черном гимнастическом купальнике. Анна Семеновна подумала было, что это и есть та самая, которую выделяет из всех остальных пресловутый Туринцев. Инструктор буквально тащил ее за руку, а она сопротивлялась, упираясь тонкими розовыми ножками.

— Садись, Тася. Ну и хлопот с этой молодежью, товарищ Ясная. Садись, мы же здесь свои, ну, что стесняешься, глупая? Расскажи нам все как есть, это же для пользы дела, а не какие-нибудь сплетни.

— А что рассказывать-то? — угрюмо спросила девушка.

— Ну, все. Как живешь, как тренируешься.

— Хорошо живу, а что?

— Как тренер ваш, Антон Петрович? Довольны вы им?

— Я не знаю, чего вам нужно, — грубо сказала беленькая и медленно стала краснеть: сперва щеки, потом запламенел лоб, и даже на подбородке, под

губой, появилось пятно, как будто она только что ела кисель.

— Нет, ты, Самохина, все знаешь. Ты нам, Самохина, мозги тут не вкручивай. Ты мне что на днях говорила? Эх, а еще комсомолка. Мы ведь стремимся с твоей помощью оздоровить обстановку, чтобы она была чистой, а ты нам помочь не хочешь. Так ты прикажешь понимать свое поведение?

— Я не отказываюсь. Как говорила, так и есть. И девочки тоже недовольны. Потому что, правда, обидно. Он с ней часами возится, а мы сидим. Или вот — начинаем с прыжков, а она говорит: «Нет, с вольных». И он — пожалуйста. И все остальное — мы что, не видим?

— Значит, так надо понимать твое заявление, Самохина, что Туринцев находится в близких отношениях с Эльвирой Яковлевой и это отрицательно влияет на обстановку, верно?

— Ну, верно, — еще ниже опустив голову, подтвердила Самохина.

— Вам понятно, Анна Семеновна? Все, Самохина, можешь быть свободной. Идемте и мы, взглянем на этого гражданина.

Туринцев стоял возле гимнастического бревна, раскинув руки, страхуя балансирующую на бревне девушку. Парень как парень — лет двадцати семи, может быть, чуть меньше, коренастый, сосредоточенный, на щеках желваки. Девушка дошла до края бревна, Туринцев звонко крикнул «ап!», и она ладно крутанула сальто вокруг его вытянутой руки. И упруго пошла на скамейку, плечистая и узкобедрая, как мальчишка.



— Вот, — зашептал инструктор, — вот это она и есть, Яковлева.

Черноватая, коротко стриженная. Бледно-оливковое лицо, и губы чуть вывернутые, с лиловатинкой. Глаза, правда, ничего — серые, пристальные и замкнутые. Но в целом та, например, беленькая, гораздо ярче. И еще одна вон сидит — очень симпатичная. Правда, у этой, у Яковлевой, в повадке что-то такое своеобразное. Ишь, повела плечом, метнула улыбку, словно просто оскалилась, и опять лицо каменное. Да, тут характер.

Анна Семеновна заторопилась, вспомнив, что к приходу мужа из еды ничего не готово, — хоть бы пельмени успеть купить.

## 2

Антон Туринцев проснулся с мыслью, что день будет хороший. Собственно говоря, это была даже не мысль — мысли его еще дремали, — просто некое неосознанное ощущение или, лучше сказать, мелодия, мотив, — что-то такое всплыло из сонной глубины Антонова тела, и он потянулся, напрягая и перебирая мышцу за мышцей. «А-а-ах», — громогласно зевнул Антон и проснулся окончательно.

Небо было густо-голубым и теплым даже на взгляд. В окне напротив молодая женщина с округлыми коричневыми руками мыла стекло, оно лоснилось и швырялось через улицу ослепительными белыми сполохами. На стене висел Элин портрет. Антон не был до конца доволен портретом, чего-то

он в ее лице не уловил. Эля выглядела здесь такой, какой сидит она на скамеечке, ожидая своего выхода к снаряду, сидит, смотрит непонятно своими серыми и думает непонятно о чем. Но Антон знал ее и другой, и эта другая на ватмане не появилась, сколько он ни бился. А Эля позировала неохотно, потому что для этого надо было приходиться в Антонову комнату — полтора метра на три, по соседству с кухней, — комнатушку, которую он снимал не у какого-то одного хозяина, а у целой квартиры: прежде в этом получулане жилали домработницы. Эля не высказывала недовольства, когда Антон уговаривал ее прийти, она и вообще-то была молчаливой, она пожимала плечами, но Антон знал, чего ей стоит, шепнув торопливое «здрасьте», пробежать через кухню, сквозь строй гудящих горелок, кастрюль, пузатых и воркующих, словно голуби, веревок с тяжелым сырым бельем и пытливых, умудренных взглядов. Антон это знал и не слишком злоупотреблял приглашениями. А какой он был художник — так себе, любитель, сплошная самодеятельность, для собственного удовольствия. Но, так или иначе, Эля смотрела на него со стены, и уже одно это обстоятельство заставляло Антона Туринцева уверовать в то, что предстоящий день будет хорошим и даже счастливым.

Перво-наперво он спустился вниз, в домовую кухню, где пил обычно кофе, сваренный в никелированном агрегате с блестящими рукоятками, которые плавно вздымались, когда коричневая струя, шипя, била в крохотные чашки. Ему бойко улыбнулась не старая еще продавщица:

— Как всегда, два двойных и два с сыром?

— И еще, Галочка, самый свежий эклер.

— Получка вчера была? — Она засмеялась, выбирая пирожное розовыми чешуйками ногтей.

— Нет, погода хорошая.

— Влюби-ились, — протянула продавщица и легла локтями на прилавок. — Понятно. Молодых людей, которые влюбленные, всегда на сладкое тянет, уж мы знаем.

Антон подмигнул ей, глотнул и обжегся. А эклер был действительно свежий-пресвежий.

Вернувшись к себе, он сел за стол, достал лист ватмана, тушь, карандаши и, косясь изредка на портрет, принялся набрасывать на бумаге контуры человеческих фигурок. Сегодня он решил во что бы то ни стало закончить план вольных упражнений, который готовил для Эли. «Фляк, здесь фляк, — шептал он под нос разные сугубо гимнастические слова. — Здесь пойдет пируэт. Пробежка... Шпагат. Нет, лучше наоборот — шпагат, наклон, пробежка...» Сложность состояла в том, что надо было постоянно держать в голове рахманиновскую мелодию — «Еще в полях белеет снег...». «Вот тут замедление, тут может быть шпагат; «а воды уж весно-ой» — снова замедление...» И, занимаясь этим, накладывая гимнастическую линию движения на музыкальную, надо было все время мысленно видеть Элю — именно такую, какой он ее представлял, какой задумал создать и какой ему так и не удалось изобразить ее на портрете.

Она была замкнутой. Часто хмурой. Если ей не давался тот или иной элемент упражнения, она долго молча стояла в любимой своей позе, сгорбив острые лопатки и положив голову боком на поли-

рованный брус гимнастического бревна. И все, что она делала и говорила в то время, когда не получалось, было резким и колючим. И Антон не подсказывал ей обычных вещей: «Доверни кисть, выше колено, мягче наклон». Он знал: и колено, и кисть, и наклон — все будет так, как надо, нужно лишь, чтобы к ней пришло ощущение, физическое и душевное ощущение упражнения, чтобы она поняла логику каждого перехода, каждой связки. «Подумай, — говорил ей тогда Антон, — подумай, голубчик. Фляк, фляк, фляк — и застыла. Это, понимаешь, как всплеск. Ветер прошел по роце, и снова все тихо. Шпагат. Листок не дрогнет. А потом опять ветер просыпается — а-ах, пробежечка». И постепенно ее жесты становились плавнее, взгляд, устремленный на свое отражение в зеркале, трогало еще хмурое, еще неохотное пока удовольствие, и Антон чувствовал: вот теперь пойдет.

Четыре года назад Элю не отличить было от любого пацана из юношеской группы секции. Плечи углами, локти — уколешься, и места на теле нет, чтобы кости не торчали. А ноги начинались чуть ли не от подмышек. С мальчишками она дралась — молча, свирепо, без слез. Отнимала у них лонжи, воровала канифоль. А то еще — заберется по шведской стенке под самый потолок и висит там, как обезьяна, смотрит в окно на какой-нибудь багровый ветреный закат и думает неизвестно о чем.

Потом уже, много времени спустя, да, собственно, совсем недавно, она говорила Антону: «Я Грина тогда читалась. Плывут облака и плывут. Как алые паруса. И все качается. А вы там, внизу, маленькие, суетитесь; и я думала: чем так жить, луч-

ше не жить. Тошка ты мой, Тошка, мучалась я тогда, сама не знаю почему».

Просто она росла — росла на его глазах. И вот этот процесс, предельно сконцентрированный и осмысленный музыкально и гимнастически, процесс превращения злой, упрямой девчонки в девушку — мягкую, женственную, скупую на внешние проявления чувств, но умеющую переживать глубоко и сильно, — этот процесс решил воссоздать Антон в вольном упражнении, которое готовил сейчас для Эли и вместе с ней. Не додумывать, не выдумывать — Эля должна была быть сама собой: неулыбчивая, со вздернутым подбородком, со взглядом, требовательно устремленным в себя, — так она выглядела во второй трети комбинации. А в финале, после головокружного сальто, под ликующее: «Весна идет, и тихих теплых майских дней румяный светлый хоровод толпится весело за ней», застыв с раскинутыми руками, она впервые по-настоящему, щедро и не таясь, выплескивала в зал всем существом рожденную улыбку. Такое решение было со спортивной точки зрения необычным, рискованным и, если угодно, вызывающим. Знакомый тренер, с которым Антон поделился замыслом, покрутил головой, похлопал его по колену плотной ручищей с многолетними мозолями от колец и турника и сказал только одно: «Психология все это, психопатия, а за нее твоей красоте судьбы даже полбалла не накинута, брось ты фокусничать». Итак, он знал, на что шел, и продолжал упрямо портить ватман.

Предаваясь этому занятию, Антон пел. Пел довольно громко, отбивая левой рукой такт, — навер-

ное, он даже орал, и стук в дверь услышал не сразу. Его звали к телефону.

— Это я, — прозвучало в трубке, кажется, очень далеко, потому что, как всегда, очень тихо.

— Молодец, что позвонила, я придумал лихую штуку: на «еще в полях» идет пробежка и кружение, а дальше маховое сальто с поворотом, представляешь? — торопливо заговорил Антон, чертя ногтем по стене и обрывая клочки обоев.

— погоди. Надо, чтобы ты приехал. Приезжай сейчас, у меня обеденный перерыв.

Та-та-та, — в трубке прерывистый, тревожный пунктир гудков.

Что-то случилось. Остановившая такси, Антон даже не вспомнил о данном самому себе слове дотягивать до полочки без долгов. От Смоленской до Белорусского конец был не близкий, машина вдобавок попала на красную волну светофоров, а за рулем сидела толстая пожилая особа, которая, видимо, больше всего на свете дорожила неприкосновенностью талона. Что-то случилось.

Эля работала на Втором часовом заводе. Обеденный перерыв кончался, и к дверям, свиваясь возле них в маленький водоворот, бежали со всех сторон девушки в одинаковых, хитро закрученных марлевых чалмах. Лавируя среди свирепой своры автомобилей, смеясь, торопливо дожевывая булки и долизывая эскимо, отругиваясь от шоферов, ловя руками и коленями подолы, в которые бил вечный сквозняк Ленинградского проспекта, бежали, бежали, бежали... Элю он заметил издали; она шла, откинув плечи, разбрасывая носки, — привыкла, а прежде косолапила и сутулилась.

— Читай, — она протянула ему свежий номер журнала «Гимнастика». — Да нет, вот здесь читай. Быстро, я опаздываю.

Ему бросилась в глаза его фамилия. Она была напечатана теми же буквами, что и вся статья, что и вся страница, и все-таки бросилась в глаза.

«Но разве применимо это слово, например, к тренеру по гимнастике спортивного клуба «Рассвет» А. Туринцеву, человеку шатких моральных принципов, который умудрился склонить к сожительству кое-кого из своих учениц? Нездоровая обстановка, создавшаяся в секции, руководимой этим, с позволения сказать, «тренером», не может не влиять отрицательно и на работу клуба в целом...»

«Но разве применимо это слово...» Что за черт, какое слово? Ага, вот. «Высокое слово «педагог». «Умудрился склонить к сожительству кое-кого...» «Например, к тренеру... А. Туринцеву». «А. Туринцеву».

— Что за черт? Погоди...

— Антон, я опаздываю. Давай журнал, он из библиотеки. Я буду ждать тебя после секции. За углом, как всегда.

Убежала.

Антон перешел на другую сторону улицы. Постоял, держась за перила моста, глядя, как плавно тормозит электричка, как редкие дневные пассажиры неторопливо входят в вагон и протягивают из окон мороженщицам вспыхивающую на солнце мелочь, как электричка мягко распрямляет свои железные рога, и вдруг начинает рокотать, и трогается с места, и мост втягивает ее в свое жерло, будто длинную зеленую макаронину. Антон постоял, опять

пошел через улицу, на ее середине, на самой белой линии, повернул назад и услышал визг тормозов, а потом крайне нелестные для себя формулировки из кабины проезжавшего самосвала. «Нет, — сказал он тогда себе, — нет, это еще что такое? Не распускаться. Надо сесть и все сообразить. Сесть и сообразить. И все».

В сквере у памятника Горькому было пусто. Няньки с детьми здесь не гуляли по причине вокзального шума, а командированные и транзитники присаживались на минутку, ворошили деньги и какие-то бумажки и убегали по делам. Антону никто не мешал. «Так, — рассуждал он. — Так. Что же теперь? Ехать в редакцию этого журнала? Допустим. А что говорить? Что все написанное — вранье? Что по-настоящему дело обстоит иначе, гораздо сложнее, и слова «склонил к сожительству», «сожительство» попросту не относятся к нему и Эле, к их взаимоотношениям, что это ошибка, непонятная, нелепая, дурацкая ошибка? Что человек, который все это написал, его, Антона Туринцева, в глаза не видел, не разговаривал, не знает, не представляет себе, кто такой Антон, чем он живет и дышит, и Элю он не знает, а если бы знал, не написал бы так, и что ему, несомненно, наговорили по злобе, обманули, и эту ошибку надо исправить, скорее исправить...» Антон вдруг представил себе, как он будет все это говорить, торопясь, сбиваясь, и под конец, как всегда, разозлится, и разорется, и бахнет кулаком по столу, а на него будут смотреть чужие и непонимающие глаза... «Постой, — осадил он себя, — постой, не гоношись, не пори горячку, здесь надо все продумать». Заметка о нем появилась



неожиданно, он ничего не знал. А Колюшев знал? Председатель клуба Илья Миронович Колюшев? Вряд ли. Еще вчера Колюшев угостил его в коридоре карамелькой, спросив: «Не курите? Вот и я, понимаете ли, решил бросить, так и сосу целый день, прямо во рту мороз, жена мятных купила». Антон представил себе колюшевскую жену, такую же сенькую, розовенькую и пекущуюся о здоровье. Нет, Колюшев — мужик порядочный, в случае чего он бы давно вызвал и разобрался. Так, ясно. Надо ехать к Колюшеву. Сейчас. Не откладывая.

Как и следовало ожидать, на председательском столе лежал развернутый номер журнала. Поверх него громоздились папки, бумаги с лиловыми печатями и витиеватыми росчерками Колюшева, две газеты, телевизионная программа, но Антон понял, что номер развернут именно на той самой странице, и те самые строки обведены одним из острых карандашей, растущих разноцветным пучком в металлическом стаканчике.

Колюшев воззрился на Антона и сердито вздохнул.

— Прекрасно поступаете. Прекрасно, понимаете ли, достойно. Позорите коллектив. Фу, мерзость какая.

— С какого числа писать заявление? — цепенея прилипшими к столу руками и криво улыбаясь, спросил Антон.

— Вы, понимаете, не перебивайте, когда старшие с вами говорят. Что вы грубиян, это давно известно, руки до вас только не доходили. «Заявле-

ние». Мы и без заявления, понимаете, укажем вам ваше настоящее место. Если будет необходимость. Какой Аника-воин. Ну, уволим мы вас, ну, даму вашу выгоним. А что вы думаете — придется...

— Яковлеву вы не трогайте. У вас таких гимнасток, как она, не было здесь и не будет, ясно?

— Ну вот, я ему про Фому, а он мне про Ерему. Не об этом сейчас речь. Ну, уволим, ну, выгоним, секция развалится, а что пользы? Только что в протоколе записать: «Меры приняты», а так сплошной вред. Эх ты, господи, есть у тебя там, в секции, какая-то одна сволочь. Не знаешь, кто? То-то и оно, что не знаешь, знал бы, не допустил.

Колюшев перевел дух, потер лысину и достал из ящика стола пачку папирос.

— Заначка. Бросил ведь, а теперь... из-за вас... Послушайте, Антон, как вас, Петрович, что ли. Что же делать-то мне с вами, а?

— Ни черта вам не надо делать. Я сам пойду в журнал и все скажу. То, что там написано, одновременно и правда и вранье. Одни и те же вещи могут выглядеть чисто, а могут грязно. Смотря как о них сказать. Вот я пойду и скажу. Про то, как есть на самом деле.

— Тьфу, аж голова, понимаете, с вами болит. Вы меня послушайте, я на этом месте не одну пару штанов просидел. Слова красивые. Знаешь, как говорит писатель Шекспир? Слова, слова, одни сплошные слова. То-то. Давайте-ка мы лучше так. Я ничего не знаю. Вы подаете мне докладную записку. Мы ведь с вами взрослые люди. Мы понимаем — ну, что особенного случилось? Кстати, уж не твоя ли эта ухажерка, часом, донесла, нет? Может, неладо что у вас,

знаешь, как бывает? Ну, ну, не кипятись. Нет так нет. Значит, все в порядке. Значит, и сыр-бор не из-за чего раздувать. Вы меня поняли? Вот и напишите докладную. А дальше — мое дело. И еще один совет. Я в твои личные дела не суюсь, я тебе не поп и не батя, да и мужик ты вообще честный, иначе другой бы разговор был. Только с нынешнего дня все твои жданки-свиданки назначай где-нибудь не ближе Малаховки. Чтобы комар носа не подточил. Понял? Хорошо меня понял? Иди работай.

До начала занятий оставалось немногим больше двух часов. Антон Туринцев провел это время, бесцельно меряя асфальт от Садового кольца до Разгуляя. Первым ощущением его после разговора с Колюшевым была пустота — такая, словно тебя отжали, выкрутили изо всех сил, как сырое белье, порядком смяв при этом. Отжали мысли, желания и ощущение беды тоже, и ничего нет, только шарканье шагов, гул и шелест машин и газетные витрины, возле которых зачем-то останавливаешься, водишь глазами по серым пятнам фотографий, а прочесть и строчки не можешь.

Есть люди, понаторевшие в ничегонеделании. Люди, которых не тяготит любой величины кусок вакуум-времени, которые привычно, со вкусом пережевывают ничем не заполненные минуты и часы. Антон же Туринцев принадлежал к той категории довольно скучных (для окружающих, разумеется, скучных) людей, которые абсолютно не умеют скучать. Нельзя сказать, что он любил свое дело. Сказать, что он жил им, — это тоже не то, потому что звучит банально и, в сущности, ничего не означает. «Специалист подобен флюсу» — вот этот афоризм Козьмы

Пруткова в точности относится к нему. Бывая, скажем, в балете — а он изрядную долю зарплаты тратил на балет и сидел, как правило, на дорогих местах, в первых рядах партера, — так вот, смотря спектакль, он привычно, уже механически примечал, что из увиденного, очень красивого и изящного, но для него не только изящного, а и технически обоснованного, можно записать или зарисовать в антракте в свою книжечку, над чем стоит подумать. Скажем, как работает голеностопный сустав у прима-балерины, когда, пролетев над сценой в высоком затяжном прыжке, она вонзает в пол свой тренированный носок. Слушая в консерватории симфоническую музыку, он прикрывал глаза, чтобы представить себе, какая линия движения может соответствовать этой музыке, и качал головой из стороны в сторону, изрядно мешая сидящим позади. Встречая на улице какую-нибудь особенно стройную и длинноногую, он часто поражался несовершенству ее походки, грубости и неуклюжести движений и старался придумать для нее цепочку упражнений, долженствующих выявить, освободить от повседневных наслоений данное от природы. Короче говоря, Антон был из тех, кого в спорте несколько иронически величают «профессорами», грубее — «фанатами», изящнее — «психами». Эти «профессора» и «психи» поначалу экспериментируют над собой, и из них самих редко выходят спортсмены большого класса. В них слишком много заданности, им не хватает порыва, вдохновения, что ли, и в своих заумных поисках они, бывает, рвут связки на ногах, выворачивают суставы — вообще, как говорится, допрыгиваются. Но тренеры из таких людей получают. И неплохие тренеры.

Анне Семеновне Белоног, ставшей вольно или невольно виновницей того, что приключилось с Антоном, было бы, вероятно, очень трудно написать о нем очерк. А ведь с идеи написать очерк все и пошло. Но Анне Семеновне Туринцева рекомендовали просто как молодого, старательного и растущего тренера. И даже представить себе невозможно, какой такой увлекательный материал собрала бы Анна Семеновна, посидев на его тренировках. Антон не шутит и не смеется, а журналисты любят, когда тренер смеется и шутит, — значит, он обаятельный и общительный. Антон не заставляет по десятку раз проделывать одно и то же. А журналисты любят, чтобы заставлял, — это значит, человек работает скрупулезно. Антон, бывает, кричит своим скрипучим на верхах тенорком: «Ну что, ну что тут не понять, ну ясно же, господи!» А журналисты крика смерть не любят — надо, чтобы тренер был спокойным, а следовательно, волевым, а следовательно, хорошим, умелым педагогом. Нет, вряд ли получился бы очерк об Антоне. Не писать же в конце концов о том, что он заставляет своих девочек менять прически (как будто он что-нибудь понимает в прическах), о том, что однажды он буквально закатил истерику из-за трехрублевых сережек, надетых кем-то на тренировку. И не о том же писать, что он устраивает экскурсии в зоопарк — оказывается, у зверей надо учиться естественности и непринужденности движений. У зверей! У тигров, например! Рабочим девушкам, комсомолкам! Нет, об этих глупостях, упрочивших Антонову репутацию «психа», писать, разумеется, не следовало.

Он любил излагать свои идеи. Свои замыслы

комбинаций и разных оригинальных связок. Не очень знакомый с ним человек мог бы подумать, что он просто хвастун. Но разговаривать о том, что его не интересовало, Антон не терпел — лучше уж молчать. Правда, и молчать можно с лицом вежливо-заинтересованным, но Антон плевал на выражение своего лица, и когда в момент монолога приятеля о том, как было трудно добыть польский гарнитур, а он все-таки добыл, или в тот чрезвычайно важный момент, когда, округлив милые, добрые и глупые синие озерца, знакомая девушка подробно излагала содержание виденного накануне кинофильма, Антоновы толстые губы скучно обвисали, как жухлые мандаринные дольки, и приятель и девушка окончательно убедились в том, что Антон Туринцев — сухарь и компании с ним лучше не водить.

Может быть, и с Элей все началось именно тогда, зимними вечерами после секции, именно там, в горбатеньких сквозных переулках, где ветер, высверливая холодные щели между шапкой и воротником, неизменно гонит путников к черной горе Елоховской церкви с золотинкой месяца, насаженной на острие креста. Здесь Антон мог без помехи орать о своих идеях, а Эля слушала, слушала терпеливо и молча и только иногда прятала в свои карманы его руки, коченевшие в пижонских перчатках. Эля не показывала своей заинтересованности тем, что говорил Антон, она лишь стоически переносила мороз и, когда он спрашивал у нее, не замерзла ли она, начинала смеяться, тихо посапывая, и подпрыгивать, кружась возле него и толкая то одним, то другим плечом. И тогда наступало еще неосознаваемое, но чувствуемое ими обоими состояние близости, потому что

в такие минуты они были не учителем и ученицей, а просто двумя людьми, которые бродят по холодной ночной Москве, дурачатся, пытаются согреть друг друга, и вместе выворачивают ее сумку и его карманы, наскребая мелочь на такси. И однажды, прежде чем она захлопнула дверцу машины, на его лбу и щеках остались и долго еще влажно остывали несколько теплых и крепких мазков ее губ. Антон ни за что не мог бы ответить на вопрос — даже самому себе, — что было вначале и что потом: увлечение гимнастикой или увлечение девушкой. И показалось ли ему или впрямь так случилось, что именно где-то в это время в Эле проступили те самые черты спортивного облика, которые позволили судить о ее таланте. А талантом гимнастки Антон считал не природную гибкость суставов, не чистоту технической отделки пируэтов и шпагатов, не смелость сальто и четкость приземления, когда спортсменка словно впивается носками в ковер и тело ее звенит каждой натянутой жилкой, — и то, и другое, и третье в конце концов можно выработать долгими, тщательными тренировками. Талантом в гимнастике были, по мнению Антона, неповторимая человеческая индивидуальность и способность выразить ее средствами спорта. Эля странно говорила о своих упражнениях. Он ей что-то толковал, а она молчала, и у нее чуть-чуть розовели верхушки скул. А потом: «Стой! — и она отмахивалась от него быстро, несколько раз. — Стой! Здесь нужно спеть». Или: «Здесь дождик, а здесь радуга».

Мало-помалу он и сам перешел с ней, а затем и с другими своими ученицами на этот необычный язык. И если бы посторонний человек заглянул на

занятия туринцевской секции и увидел, как Антон, послав на прыжок Валу Жидкову, бежит вслед, нелепо машет кулаками и тоненько орет: «В небо, в небо!», и подпрыгивает, и невесть почему выходит из себя, — этот посторонний испытал бы сильнейшее недоумение. А подслушав, скажем, как Туринцев поющим шепотом объясняет Самохиной, шевеля пальцами перед самым ее лицом, что: «Ля-ля, ля-ля — это, ты пойми, это ручей те-чет, а тут — ля-ля! — прыг — сальто — у-ух! — водопад!», можно и в самом деле счесть Антона настоящим психом.

Нетрудно понять, насколько сильным ударом было для него появление того самого абзаца в статье из журнала «Гимнастика». Подобно боксеру, умело и увлеченно ведущему бой и вдруг неожиданно, в момент атаки, получившему прямой в солнечное сплетение, припавшему на колено и под отрывистый счет судьбы чувствующему невозможность да и неохоту продолжать поединок, Антон внезапно ощутил, что вся его работа, вся жизнь, представлявшаяся нескончаемым, безостановочным бегом вперед, к задуманному, потеряла теперь всякий смысл.

В этом настроении он и пришел в спортивный зал. Пришел почти за час до начала тренировки, потому что ему некуда больше было идти, потому что он просто не умел впустую транжирить время. Он вошел в раздевалку и стал привычно снимать и складывать костюм, привычно облачаться в тренировочную рубашку и брюки, привычно поправлять штрипки, натягивать тапочки и застегивать «молнию», мыть руки, причесываться — словом, делать все то, что прежде, до сегодняшнего дня, было для него повсе-



дневным, но все-таки немного торжественным ритуалом подготовки к занятию.

Хлопнула дверь. В раздевалку, чуть переваливаясь, вошел тренер по борьбе Васьянов, маленький старый человек с грубо и надежно сработанным лицом и примятыми ушами, похожими на слоновьи. Васьянов сел рядом с Антоном, рывком подсадив себя на подоконник, и вытащил коробку папирос.

— Закуришь?

Антон покачал головой.

— И правильно. Не привыкай. Распускаться — это самое последнее дело.

Васьянов сказал что-то еще, но Антон не разобрал: старик обладал протодьяконским каким-то басом, и речь его к концу переходила попросту в воркотню, добрую или гневную в зависимости от обстоятельств.

Он затянулся, пустил, округлив губы, несколько дымных колец и проткнул их казбечиной. Хлопнул Антона по спине своей квадратной ручищей, которой этот мощный удар, может быть, казался только поглаживанием.

— Башку не теряй. Мы тут тоже не звери. — Рык, последовавший за этими словами, был и вовсе уж звериным. Только и разобрал Антон, что рокошущее «ддружба» и «ррбота». И в конце: — Мы в случае чего за тебя, как говорится...

Не вспомнив, как это говорится, Васьянов сложил ладони и потряс ими. Антону показалось приятным и удивительным, что Васьянов, плохо его знавший и имевший вдобавок среди работников клуба репутацию человека резкого и колючего, ведет с ним такой разговор. Но ни продолжать этот разговор, ни

откровенничать тем паче ему сейчас было не по силам.

— Простите, — сказал он. — Меня там ждут. Спасибо вам.

Васьянов еще раз добродушно смазал его по спине и сделал печальную гримасу долговязому баскетболисту Лычко, вбивавшему огромную ступню в помятую кеду. — Вот, Сергей Сергеевич, какие дела хреновые.

— Умел гадить, умей и ответ держать, — сказал Лычко, справившись, наконец, с кедой.

Васьянов завесил глаза надбровными желваками, тряся лицом, заплевал и затоптал папиросу и прорычал что-то лютное, с явным наличием «дурака» и «костыля». Не умел старик сдерживаться.

Антон поднялся в зал. Здесь еще не кончили занятий акробаты института физкультуры. Их тренер, очкастый, похожий на какого-нибудь доцента-физика, стоял, балансируя, как на канате, на перекладине турника и смотрел сверху на прыгающих и ходящих на руках здоровенных и лоснящихся от пота своих ребят. Тренер, похожий на доцента, был в недавнем прошлом известным циркачом, участником прогремевшего по всей стране сложного и опасного номера. И Антон в который раз подумал о том, насколько обманчива человеческая внешность. Вот и Васьянов, думал он сейчас, какой этот Васьянов на вид бирюк и нелюдим, а ведь месяц назад, когда старика собирались пригласить на пенсию, все его борцы, эти губастые и скуластые мужики с короткими шеями, вросшими в плечи, ввалились в кабинет Колюшева и, едва не сокрушив из-за огромности своей и застенчивости витрину с призами и кубками, ста-

ли канючить, чтобы от них не забирали их батю. И Эля, его Эля, думал Антон, в ней ведь тоже, если смотреть на внешность, ничего особенного, и никакая она не Полина Астахова, но есть в ней необычная одна струна, и гимнасткой Эля наверняка будет, гимнасткой с большой буквы — жаль только, если вся эта история повредит ей. Нет, нет, сказал себе Антон, не распускаться. С Элей он работу доведет до конца. Должен довести во что бы то ни стало. Иначе грош ему цена.

Тут бы, на этой совершенно справедливой и добропорядочной мысли и задержаться Антону. Но по своей дурной привычке он пустился в размышления абстрактные и бесполезные. Почему это, спросил он себя, действительно обманчива внешность? Ну, скажем, наделяя ящерицу способностью маскироваться под сухой листок или мертвый камень, природа просто охраняет живую жизнь от смерти. Но зачем та же природа скрывает доброту Васьянова или грацию Эли, доброту и грацию — качества, так необходимые всем людям? Разве грозит этой доброте и грации какая-либо опасность? Или, может быть, прodelывая это, природа просто побуждает человека глубже всматриваться в вещи и явления, искать их настоящую суть? Побуждает к развитию науку и все такое прочее? И даже, если взять случай с этой самой статьей — ведь внешне все выглядит именно так, как в ней написано, но писавший статью обязан был заглянуть глубже, разобраться и т. д. и т. п.

Мало-помалу стали собираться его девчата. Такие обычно разные, они сегодня здоровались с ним и смотрели одинаково робко и в то же время с любопытством и испытующе. И Элю, вошедшую в зал,

они встретили тоже тихо-испытующими взглядами. Но Эля, будто и не случилось ничего, спокойно и вежливо кивнула Антону, попросила гребенку у беленькой Таси Самохиной — Тася стала торопливо рыться в сумке, сменяя и переворачивая что-то аккуратное, женское, мельком взбила волосы перед зеркалом и пошла разминаться. Антон позавидовал ее выдержке. Он и сам понимал, что надо быть спокойным и непринужденным. Он пробовал шутить, он торопил копающихся, как обычно, девчат, и одну, которая последнюю неделю ходила сама не своя — видно, влюбилась, да что-то у нее не так, — слегка встряхнул за плечи: «Выше нос, Светланка, ты что, будто мышь на крупу!» И все равно ему казалось (а может, не только казалось), что и Светланка, и беленькая Самохина, симпатичная, старательная, но на редкость непонятливая особа, с которой надо биться и все разжевывать, и Жидкова, кокетка с капроновыми бантиками (это ее пришлось заставлять выбросить безвкусные серьги), и умная очкастая Наташа Кочеток — она занималась у многих тренеров, перепутала все методы и системы и в общем не очень доверяла Антону, — словом, все они держат на прицелах именно тот сектор зала, в котором движутся, говорят и смотрят (друг на друга или нет?) Антон Туринцев и Эля Яковлева.

Пришла, гордо неся пружинистый торс, старуха Белла Карловна, хореограф («В молодости у меня было много поклонников, и хотя я нехороша собой, но осанка! Шаг!»). Пришел пианист Марк Борисович, лобызнул Белле Карловне ручку («Свежесть! Вечный пример молодежи!»).

— Третья позиция. Марк Борисович, прошу. И...

раз, два, три... Марк Борисович, не врать! Марк Борисович, не на пожар, плавнее! И... раз, два, три... Самохина, не вижу линии. Яковлева — показать. Пятая позиция. И... раз, два, три...

Люта была старуха в работе.

Привстав на носки, сделавшись совсем тонкими, похожими на неправдоподобно изысканные силуэты из модных журналов, помавали округленными руками и лучиками ног лаборантки, ткачихи, троллейбусные контролерши, и они же шеренгой балетных див порхали в ломкой дали зеркала, а их туманные отражения в оконном стекле наплывали на заводские дымы, летящие вдоль кромки заката, на цветные квадраты окон больших и маленьких, деревянных, кирпичных и блочных домов и словно скользили над городом, где эти девчонки работали и жили.

Потом пошла своим чередом тренировка: «Прогиб, прогиб, и — мах! Подбородок выше, ну, улыбку, на бревно не смотреть — на меня! Самохина, смелее. Светлана, соберись, разбег энергичней, ну, пошла! Самохина, смелее. Жидкова, Валечка, а если через «не могу»? Самохина, что же ты, ну иди, еще раз объяснить?»

И Антон все уже забыл, увлекся, и только иногда, когда к снаряду выходила Эля, он ловил себя на том, что робеет к ней при всех прикасаться, боится страховать. И тогда его быстро кололи удивленно-злые, прозрачные, как крыжовник на солнце, глаза.

Эля ждала его за углом. Прохаживалась, стуча по ноге спортивной сумкой, вертя длинной шейкой, казавшейся еще длиннее оттого, что ворот трени-

ровочной рубашки был поднят до самого подборка.

— Тош, сведи меня куда-нибудь. У тебя деньги есть?

Пошли в шашлычную. Здесь было парно и гулко, словно в бане. Подплыла, перекатывая могучие бедра, сонная официантка, встряхнув, перевернула скатерть, ставшую от этой процедуры еще грязнее.

— Что для вас?

— Тош, — жалобно сказала Эля, — слушай, возьми мне какой-нибудь суп. Целый день не лопала.

Официантка презрительно подняла розовые бугорки, служившие ей бровями.

— Девушка, поздно для супов.

— Пожалуйста, — настоятельно и умоляюще произнес Антон.

— Спрошу на кухне, — вздохнула официантка.

Еще заказали шашлык и бутылку вина с непонятным названием. Спросили официантку, хорошее ли оно, и та пренебрежительно бросила: «Не знаю, попробуйте». Изю всех вин в меню это было самым дешевым.

Гремя ложкой, Эля размешивала густую, щедро наперченную жижу. Антон разлил по фужерам вино.

— Ну ..

— Погоди. Слушай.

Эля положила свои руки на его. Пальцы ее были прохладные и крепкие.

— Я тебя люблю, — сказала она медленно и раздельно. — Что бы ни случилось.

Чувствуя сладковатую, унижительную близость слез, Антон торопливо зажевал набитым ртом.

— Ну и ладно. И хорошо. И хватит об этом. Ешь.

— Тош... — она подняла руку, словно в классе на уроке. — И еще. Можно?

— Валяй, — крепясь, разрешил Антон.

— Я ни-ичего не боюсь. Понял? Ни-ичего.  
Хрипела магнитофонная Шульженко.

### 3

—... Но позвольте вас спросить, на основании каких данных вы обвинили Туринцева в аморальном поведении? У нас в клубе таких данных нет. Вы меня извините, но то, о чем вы здесь говорили, попахивает сплетнями. Кто-то что-то сказал, показалось, понимаете, и так далее... Это не доказательство. Не хорошо для представителей советской печати. Не на это вас нацеливают. Здесь товарищи правильно говорили — у нас есть за что бросить упрек Туринцеву. Да, был факт, когда он сорвал нам показательное выступление. И о грубости его имеются сигналы. И мы за это его по головке не погладим. Мы строго взыщем. Но давайте называть вещи своими именами. То, что написано в журнале, является от начала до конца выдумкой. И мы вам в редакцию пришлем соответствующий документ. И не только в редакцию. Пусть где надо разберутся, кто позволяет отдельным недобросовестным корреспондентам заниматься сплетнями на страницах советской печати. У меня все. Больше никто не хочет?

У Анны Семеновны пылали щеки и уши. Она изо всех сил вдавила руки в колени, но не чувствовала ни тех, ни других. Каким же ненавистным и противным казался ей этот Туринцев, толстогубый мальчишка с нестриженной шеей! Председатель смот-

рел на нее такими круглыми и светлыми, без выражения, глазами, словно они оба были вставными. И члены совета, молодые и пожилые, мужчины и женщины, которые так вежливо, даже чуточку искательно, здесь ее встретили, сейчас представлялись ей всего лишь двумя линиями чужих и злых глаз. Анна Семеновна готова была убежать и в досталь нареветься за дверь. Но так она могла поступить, если бы была просто Анной Семеновной, а не представителем журнала, с редакционным удостоверением в сумочке и блокнотом на столе, блокнотом, в котором она не сделала ни одной записи. Она не думала о том, правда или ложь то, что здесь говорилось. Просто она, ужасаясь, представляла себе, что завтра утром ей придется, как всегда, ехать на работу, разменивать в кассе метро рубль, торопясь, бежать по улице, здороваться с сослуживцами и, открыв черную кожаную дверь с потресканной табличкой «Главный редактор», говорить... Что?

Гремя стульями, на ходу переговариваясь о чем-то постороннем и даже (даже!) веселом, члены совета проходили мимо нее, словно ее вообще и не было. Решившись, она быстро подошла к председателю, который, тоже уже о ней забыв, подписывал какие-то бумаги.

— Скажите...

Он посмотрел на нее, будто в первый раз видел.

— Скажите, а могла бы я, например, поговорить с этой девушкой? С Яковлевой.

Председатель вздернул плечи.

— Павел Петрович, дай гражданке домашний адрес Яковлевой. Чтобы, понимаешь, на справочное бюро трех копеек не тратить.



Обходя застарелые лужи и колеи, Анна Семеновна вошла во двор многоэтажного нового дома. Но Яковлева жила не в этом доме, а в другом, маленьком и скособоченном, который притулился во дворе, словно желая спрятать от глаз улицы свои надбитые кирпичи, серые рамы и скрепленную железными скобами трещину на фасаде, свидетельствующую о том, что домику в этом новом районе остались считанные дни. У двери квашнями сидели на лавочке старухи в платках с горошками. Они, как по команде, прикрыли безгубые рты и встретили и проводили Анну Семеновну любопытствующим поворотом черепаших головок.

Яковлевым было звонить семь раз. Анна Семеновна, отвыкшая за много лет от коммунальной перенаселенности, едва не сбилась, отсчитывая нажатия кнопки. До нее донесся запах кухни, и худая женщина с глубокими коричневыми глазницами сухо сказала: «Проходите».

На цветастых обоях висели фотографии людей, которым, судя по выражениям их лиц, не часто приходилось бывать у фотографа. За рамками — бумажные цветы. На столе — старая плюшевая скатерть. «Ох, и пыли бывает в этой скатерти — картога вытряхивать, — машинально подумала Анна Семеновна, — а ведь какие чудные продаются в «Синтетике»...»

— Можно видеть Эльвиру Яковлеву?

— Ее нет. А вам она на что? Я сестра ее.

— А когда она будет? — спросила Анна Семеновна, теряясь оттого, что, как она только сейчас поняла, у нее не было ровным счетом никакого

плана действий и вообще неизвестно, зачем она здесь.

— Не знаю, она мне не докладывает, — ответила женщина, вытирая фартуком распаренные руки. Стирала, наверное. — Да у вас что, дело к ней какое?

— Скажите мне, вы знаете такого Туринцева, Антона Петровича?

— Тошу? Ну, знаю, а что? Случилось что?

— Нет, просто я хотела кое-что выяснить.

Как нужно было задавать этот вопрос? И какой, боже мой, какой вопрос?

Женщина ждала.

— Вот... Антон Петрович... Тоша и Эльвира — они, что, дружат? В каких они вообще отношениях?

— Да вы-то кто такая?

— Я? Просто знакомая. Знакомая его матери, — обливаясь потом, соврала Анна Семеновна. А что ей было делать?

— А, ну, тогда, конечно. Я было испугалась, может, правда, что случилось. Конечно, мать интересуется... Нет, мы в семье об ихних делах в курсе. Встречаются они. То есть дружат, конечно. В театр ходили, у меня даже где-то программка была, я все программки собираю. Да вы, может, чаю попьете, я поставлю, а там, глядишь, Элечка подойдет. Наверное, с Тошей куда-нибудь пошли. Они все время вместе. Она его исключительно уважает. Он серьезный человек и не обманчивый. Ну вы его, конечно, лучше знаете.

С трудом отбоярившись от неожиданного гостеприимства, изолгавшаяся, презирующая самое себя, Анна Семеновна промчалась сквозь строй понятли-

вых взглядов старух и выбежала на улицу. Пошла тише, на ходу успокаиваясь и прикидывая, что же она все-таки узнала и что скажет завтра редактору. Значит, на совете ее обманули. Да что там ее — журнал! Всю советскую печать, о которой так нагло, отъявленно нагло говорил председатель. Нет фактов! Нет, видите ли, доказательств того, что Туринцев близок со своей ученицей. А разговор с сестрой — это не факт? «Они все время вместе. Он серьезный и не обманчивый». Знаем мы их, этих «не обманчивых». Анна Семеновна, не бывшая близкой ни с одним мужчиной, кроме собственного мужа, слышала тем не менее рассказы подруг о скверных мужиках, соблазняющих и бросающих молоденьких простушек. И жена сослуживца мужа не далее чем неделю назад пришла к ним сама не своя, глаза опухли до щелочек, а ведь интересная женщина и не старая. В чем дело? Дочка, соплюшка, семнадцать едва стукнуло — и что бы вы думали? Спуталась с сорокалетним, бросила школу, уехала с ним в Кудепсту, а потом — телеграмма: «Умоляю, шлите сто рублей обратную дорогу». Бросил.

Сергей Прокофьевич Фомин выслушал ее внимательно, успев за время довольно сбивчивого, но чрезвычайно эмоционального доклада записать на листке календаря своим красивым, четким почерком несколько пунктов — первый, второй, третий и так далее.

— Да что ты волнуешься, дорогая Анна Семеновна? Привыкай. Подлецы никогда не сдаются без

боя. Если бы в ответ на нашу критику они нам в ножки кланялись, то грош бы цена этой критике. Конечно, была у тебя слабинка. Факты есть, но доказательств...

Анна Семеновна подумала, что слабинка была не у нее, передовую-то писал сам редактор. Но она ничего не сказала, и Фомин продолжал, четко постукивая карандашом:

— Во-первых, так. Ответа мы от них еще не получили, но, очевидно, в ближайшее время получим. Какой будет ответ, мы знаем. Значит, надо готовиться. Тебе кто первый об этой истории рассказал?

— Инструктор.

— Инструктора мы отбросим. Сама понимаешь, он целиком и полностью зависит от председателя и от всего отпрется. Вот девчоночка там у тебя была...

— Самохина.

— Надо ее пригласить в редакцию. Пусть она в моем присутствии повторит, что тебе говорила. И главное, напишет. Это уже будет веско.

— Да, но, понимаете, Сергей Прокофьевич, она и тогда-то мялась. Под нажимом рассказала.

— Что ж делать, и у нас расскажет. Я тебя понимаю, неприятно, история мутная, но надо дело доводить до конца. Тем более что я чую, — он поднял палец, — мы тут стоим крепко. Я кое с кем поговорю. Это будет второе. А третье — это, правда, уже не твоя забота. Не откажи в любезности, кликни там Германа.

— Звали, Сергей Прокофьевич? — Специальный корреспондент Герман, еще румяный после прият-

ного телефонного разговора, который он вел нарочно громко, чтобы небрежный и победительный тон произвел впечатление на машинистку Верочку, бодро и деловито просунулся в кабинет.

— Садись. Есть боевое задание. Пойдешь в пединститут. К Борисову. Это завкадрами. Скажешь, что от меня. Передашь привет. Возьмешь личное дело Туринцева А. П. У них, наверное, сохранилось. Борисов ничего зря не выбрасывает. Просмотришь внимательно. Я чувствую, что-то за ним есть. Ни с того ни с сего человек не портится. Борисов припомнит, поможет тебе. В общем надо подробно разобраться в этом Туринцеве. И не откладывай. Я проверю.

Герман низко опустил голову и крепко взъерошил свой черный ежик.

— Сергей Прокофьевич, может, кому другому поручите? Ей-богу, Тошка хороший парень.

— Что такое «хороший парень»? Водку с ним пить, наверное, хорошо. Мы все хорошие парни и все выпить не отказываемся. Но есть такое понятие — «дело». Слышал когда-нибудь? И путать разные вещи нельзя. Я же сказал, Герман Абрамович, надо сделать.

Герман помолчал, растирая пятернями щеки.

— Воля ваша, не пойду. Вы же знаете, я от работы не бегаю. Лучше я вам за кого угодно статью напишу.

— За кого и что ты напишешь... — Фомин встал, откинул за ухо длинную русую прядь, прошелся по кабинету, сухонький, маленький, утопленный в широкий двубортный пиджак с потертыми лок-

тями. — За кого и что вы напишете, это не вам... Анна Семеновна, выйди, пожалуйста.

Дверь прихлопнулась, и из щели под ней потек ровный тенорок Фомина, прерываемый изредка суматошными выкриками Германа. Наконец Герман вылетел из комнаты, нахлобучил берет и прыжками затопал к выходу.

— Погодите, Гера. Ну, как вы, пойдете?

— Пойду! Водку пить пойду! В бордель! Я тоже морально разложившийся! Но я пока еще не окончательная сволочь...

Когда Тася Самохина училась в школе, ее дразнили «Исамохина». Это потому, что она была вечным вторым номером: «Бранд и Самохина», «Логвинчук и Самохина». Вначале она дружила с красавицей Ольгой Бранд. Ольга писала стихи, зачитывалась Верленом, Уайльдом и другими поэтами и писателями, не входящими в школьную программу. К комсомольским и общественным делам относилась свысока. Мальчики ее были вовсе не мальчиками, а надменными молодыми людьми, потенциальными гениями из кружков художественной самодеятельности. Если же в ее большой свите попадались какие-нибудь пошумнее и непосредственнее — словом, мальчики, Ольга сплавляла их своему адъютанту Тасе, и те покорно водили ее под руку, глядя в Ольгину спину и надеясь на будущую благосклонность.

Потом родители увезли Ольгу в Ленинград, и Тася обрела нового вождя в лице Лиды Логвинчук, активистки и спортсменки. На диспутах «Лю-

бовь и дружба» Лида свирепо отстаивала приоритет чистой и честной дружбы над всеми прочими чувствами, которые мешают труду и творчеству. При этом она испепеляла взглядом шепчущиеся на задних партах парочки. У нее самой не было времени на «прочие чувства»: по вечерам она самоотверженно занималась в гимнастической секции, по субботам и воскресеньям, натянув штормовку и кеды, ходила с туристами петть в лесах песни про то, как здорово «карабкаться на скалы по веревке основной». И Тася ходила вместе с ней, самоотверженно мерзла, и, сморкаясь исподтишка в кружевной платочек, презирала прежних своих мальчиков из свиты Ольги Бранд.

Лида после окончания школы уехала на целину. Тася бросилась было с ней, но старенькая мама, московская прописка и телевизор КВН с круглой линзой, полной дистиллированной воды, оказались сильнее романтических соблазнов. Правда, она дала Лиде клятву, что ровно через год, когда брат вернется из армии и маме не будет грозить одиночество, она, Тася, бросит уютную химическую лабораторию, где надо до блеска мыть пробирки и следить за термостатом, и тоже отправится на передний край. И в каждом своем длинном письме она уверяла Лиду, что решение ее неизменно. Но, к ее обиде, Лида скоро перестала ей отвечать, потому что неожиданно и нелогично, с точки зрения своей жизненной позиции, вышла замуж и родила горластого мальчишку. Так Тася осталась одна.

И стала искать себе лидера. В спортивной секции, куда некогда привела ее Лида Логвинчук, ей больше всех импонировала Эльвира Яковлева, «волевая и за-

гадочная», как она ее про себя определила. В Яковлевой соединялась для Таси возвышенность Ольги Бранд и нацеленное упорство, привлекавшее ее некогда в предательнице Лиде Логвинчук. Нравилась ей еще и Жидкова, хорошенькая, кокетливая, умеющая ярко и броско одеваться, вечно окруженная поклонниками из мужской части секции. Жидкова могла бы подружиться с ней, но поначалу встретила ее настороженно, поскольку Тася была довольно симпатичной и имела основания претендовать на внимание ребят. Однако поняв, что Тася «бережется» и ребята избегают ее, Жидкова ее презирала. Яковлева же никогда особо не сближалась с другими девочками, а Тася была для нее слишком безликой и бесхребетной. Так и осталась Тася в секции одна — по привычке старательная, но самая неспособная, хронически обиженная не всегда терпеливыми разъяснениями Антона.

После того как однажды, доведенная до слез его придирами, Тася пожаловалась малознакомому инструктору и обронила опрометчивые слова в адрес Антона и Яковлевой, после того как инструктор свел ее с ласковой черноглазой женщиной, оказавшейся (о, ужас!) корреспонденткой, и заставил эти слова повторить, Тася некоторое время с дрожью ждала последствий своей проклятой болтливости. Но шли дни и месяцы (она ведь не знала, что выпуск журнала — долгий типографский процесс), и мало-помалу Тася все забыла.

А потом — потом случившееся оказалось для нее очень тяжелым ударом. Правда, она убеждала себя, что поступила правильно, принципиально, так, как всегда учила ее поступать Лида Логвинчук. Но беда



заклучалась в том, что, когда девушки после выхода журнала исподтишка, таясь от Туринцева и Эльвиры, обсуждали происшествие, они в основном жалели их обоих и ужасались дальнейшим последствиям. И Тася, обязанная, казалось бы, остаться принципиальной до конца, то есть в тот момент, когда Жидкова, стуча кулачками, скороговоркой повторяла: «Знала бы, какая пададь накапала, зрочки бы ей вырвала, заразе!» — Тася должна была красиво и достойно выйти в круг и громко сказать: «На, рви зрочки, я не боюсь постоять за правду, это сделала я и горжусь этим». Так бы поступила Лида Логвинчук. Но Тася так поступить не могла, у нее не хватало духа, она просто молчала, тем более что ее мнения никто и не спрашивал. Молчала, а значит, соглашалась с остальными. И следовательно, лгала.

О Тасиной вине секция узнала после заседания совета, на котором Анна Семеновна сослалась на ее фамилию. Когда следующим вечером Тася пришла на занятия, все девушки при ее появлении замолчали. Собственно говоря, с ней и обычно-то не больно разговаривали, разве что «дай канифоль», «нет ли иголки, трико заштопать?» (иголки и нитки у нее неизменно водились). Но тут все замолчали и отвернулись намеренно, чтобы она видела, что она для них не существует и они даже замечать ее не хотят. И она поняла — знают.

— Не могу! — Валя Жидкова вскочила и подбежала к Тасе. Остановилась, подбоченилась, оскалила мелкие острые зубки с золотым клычком в углу ярко накрашенного рта. — Ну что, ну что, ну, пасть тебе порвать, да?

— Оставь ее, Валька, с кем связываешься? — ле-

нивенько процедила из угла очкарик Наташа Кочеток.

Жидкова смачно плюнула и медленно втерла слювок в пол носком туфли. Повернулась и пошла прочь.

Ох, и тяжелая пошла у Таси Самохиной жизнь! Бойкот секции был полным и непримиримым. И это бы не горе, если бы Антон, сам Антон Туринцев, который обязан Тасе своим несчастьем, не относился к ней по-прежнему, и даже более внимательно и даже жалостливо, как к больной. На работе она была пробирку за пробиркой; хорошо еще, что заведующий, кроткий доктор наук Гимпелевич, беспомощно подписывал все новые и новые требования на посуду и реактивы. Дома Тася чаще всего лежала, уткнув голову в угол дивана, прикрыв плечи маминым деревенским платком, а мама ходила на цыпочках, просила у соседей адреса гомеопатов, а телевизор даже завесила салфеткой. Тася могла бы бросить секцию, но привычка оказалась слишком прочной цепью, и, к удивлению остальных гимнасток («Я бы на ее месте, девочки, буквально в пустыню Каракумы сбегала», — говорила Жидкова), она неизменно по вторникам, четвергам и субботам, хмуро, ни на кого не глядя, появлялась в зале, старательная пуще прежнего. Но горе и обида, которые осели в душе Таси, привели ее к сознанию своей правоты и непонятости.

Поэтому, когда однажды она нашла в своем почтовом ящике открытку с просьбой зайти в редакцию журнала «Гимнастика», то восприняла приглашение как некий выход из создавшегося положения. Ей надо было что-то делать, что-то доказывать, как-то защищать свою позицию, и она к этому стремилась всем удрученным и затравленным существом.

Анна Семеновна, напротив, ожидала, что Самохина будет, как и прежде, сопротивляться, давить из себя слова, подчиняясь уговорам и даже (не дай бог!) угрозам, а уж подписывать что-либо откажется наотрез. Но Самохина сразу поняла, что хочет от нее Сергей Прокофьевич, умевший быть с посторонними обаятельным и ненавязчиво, небрежно дружелюбным. Она все поняла и взяла лист бумаги и ручку, и тут же за стол деликатно вышедшего редактора присела, и только спросила у Анны Семеновны, подевичьи зарумянившись шейкой, как написать лучше: «склонил к сожительству» или «соблазнил к сожительству». И это еще более подтвердило для Анны Семеновны собственную и всей редакции правоту.

— Ага, ну, вот и хорошо, — сказал, читая заявление уже после ухода Самохиной, Сергей Прокофьевич. — Гляди, Анна Семеновна, как излагает: «Я, Самохина Анастасия Ивановна, года рождения 1942-го, член ВЛКСМ с 1960 года, проживающая...» — и так далее. Вот: «Склонил к сожительству одну нашу гимнастку, Яковлеву Эльвиру, 1941 года рождения...» Так. Дальше. «Бывает с ней в ресторанах и поит алкогольными напитками, а это доказано медициной, что влияет на спортивную форму и вообще на здоровье». Это важный факт.

О «ресторанах и алкогольных напитках» Тася узнала случайно, подслушав у всезнающей Вали Жидковой, что Антон и Эля однажды были в шашлычной. Валя со своими поклонниками частенько бегала в это злачное место, но в тот вечер, увидев тренера, она, конечно, быстренько смылась.

— Теперь держи, — Сергей Прокофьевич вынул из ящика стола и протянул Анне Семеновне желтый

скоросшиватель с каллиграфически выведенной на обложке фамилией «Туринцев А. П.» (редактор любил свой почерк и сам обычно писал все объявления, от «Не курить» до «Партсобрание завтра, в 18.00»). — Подошьешь сюда эту писульку. В пединститут я Головлева послал. Есть же еще, право, бесхребетные интеллигенты вроде нашего преподаваемого Германа. Воспитываешь вас, воспитываешь, а все без толку. Ну ничего, Головлев что надо из-под земли добудет. Если окажутся какие документы, их тоже сюда. Пусть все у тебя остается. Заварила кашу, сама до конца и расхлебывай.

Обо всем происходящем Анна Семеновна как-то рассказала мужу. За последний год Николай Иванович Белоног изменился. Получив генеральский чин, он почувствовал, да и все его сослуживцы тоже, что карьера его на должности начальника отдела подошла к вершине и дальнейшего развития не получит. И бессознательно он постепенно перестал с прежней ревностью относиться к службе. Газеты и специальные журналы, во множестве выписываемые им, сначала откладывались от воскресенья до воскресенья, а потом и вообще стали копиться нетронутыми, и Анна Семеновна, не опасаясь мужниного гнева, разрезала их на аккуратные четвертушки для домашнего употребления. Ругался он на нее только в тех случаях, когда, задержавшись в уединенном месте квартиры, прочитывал одну из таких четвертушек. Но и ругался не убедительно, просто бурчал по-стариковски. К пятидесяти с небольшим годам Николай Иванович как-то обвис, обмяк огромным,

ладным прежде телом и превратился из бравого военного в довольно все же бравого военного старика.

По воскресеньям Николай Иванович водил страстно его любившего и донашивающего дома полковничьи фуражки десятилетнего Сережку — младшего — в музей Ленина, Революции, Исторический. Иногда он поговаривал о своем намерении написать книгу по истории Советской Армии, и хотя времени, когда будет писаться эта книга, муж вслух не намечал, Анна Семеновна понимала — речь идет о близкой отставке. А еще отец и сын любили запираться после обеда в кабинете, где они с одинаковым увлечением играли в шашки и разбирали коллекцию марок (многие из друзей Белонога бывали за рубежом, и коллекция быстро пополнялась). Случалось, Николай Иванович вслух унылым и глухим голосом докладчика читал Сережке «Похождения бравого солдата Швейка», смеялся, глядя на то, как катается от хохота по дивану сын, и, отсмеявшись, пояснял, что речь в книге идет об империалистической армии, порожденной прогнившим режимом помещиков и капиталистов.

Когда жена рассказала ему об истории с Туринцевым и о том, какую роль в этой истории сыграла она, Николай Иванович нахмурился, отставил от себя обеденный бокал нарзана и долго молчал, сцепив широкие бледные пальцы, поросшие золотой проволокой и присыпанные веснушками.

— По-моему, чепуху вы затеяли, — сказал он, вздохнув. — Ну, было у меня в дивизии — начхоз с подавальщицей из столовой спутался. Я вызвал, дал ему жару. Чтоб, говорю, завтра женился. Об исполнении доложить. И как жили потом хорошо. Несте-

ренко, ты ж его помнишь. Между прочим, один мудрец из штаба хотел тоже дело раздуть. Так я ему такого перца прописал...

Анна Семеновна, почувствовав в словах о мудреце из штаба скрытое себе осуждение, вспыхнула и в первый раз за много лет накричала на мужа. Она сказала, что он не понимает целей и задач советской печати, что долг печати — разоблачать разных замаскировавшихся аморальных типов вроде этого Туринцева и что ей, Анне Семеновне, было бы зазорно скрывать и замазывать то, что мешает развитию нашего физкультурного движения.

И Николай Иванович с удивлением, словно в первый раз увидев, поднял глаза на жену, бог весть где усвоившую эту громкую фразеологию, за которой может стоять и очень многое и, к сожалению, может не быть ровным счетом ничего.

— Задачи-то я понимаю, — сказал он. — Вот методы ваши... Ну гляди, разбирайся сама. Если, конечно, способна.

Он скривился от боли, полоснувшей внезапно желудок (боль эта приходила к нему все чаще), отхлебнул нарзана, ушел в кабинет и лег.

— Анна Семеновна, там спрашивают кого-нибудь из наших, может быть, вы поговорите? — сказала ей машинистка Верочка утром, когда на работе еще никого не было.

В дверях теснилась смущенная стайка девиц.

— Проходите, садитесь, девочки. Что у вас к нам?

Одна из них, в невообразимо взбитой прическе «бабетта», в дешевых серьгах, величина и яркость

которых заставила Анну Семеновну жалостливо про себя усмехнуться (красивая ведь девушка, а как свою внешность портит), подседа к столу, остальные сбились в углу на диване.

— Несправедливо поступаете, — заговорила обладательница «бабетты», нервно пощелкивая замком сумочки. — Что вам сделал наш Антон Петрович? За что вы его грязью мажете? Вот мы все из его секции. Мы у него пять лет занимаемся. Вы хоть знаете, какой он человек? Если бы он мне сейчас сказал: «Валька, бросайся под трамвай, тогда мне будет легче», — думаете, я бы не бросилась? И все мы буквально так. Наташка, скажи — нет? А если попалась в секции такая, прости господи... («Валя», — укоризненно донеслось с дивана.) Ладно. В общем мы ее все буквально презираем. Я вам буду говорить честно. Есть у нас одна такая девочка, Эльвира Яковлева, ее, конечно, здесь нет сейчас, но я вам честно скажу. Это хорошая девочка, не какая-нибудь с улицы, это очень замечательная девочка, и она достойна, чтобы Антон Петрович к ней проявлял внимание. И мы ей все завидуем, как подруге, конечно, потому что Антон Петрович необыкновенный человек, и он чистый, буквально как стеклышко. Но клянусь вам всем святым, мамой клянусь, у них, если любовь, то такая возвышенная, как буквально в книжках. А если он ей помогает как гимнастке... Вот вы сами, простите, спортом занимались? Тогда поймете. Мы все здесь гимнастки, мы можем отличить, из кого выйдет настоящий мастер. Так разве жалко, если на такого человека все силы, все внимание и забота, так ведь и должно быть в жизни, разве нет? И вот вы написали. Ну, может быть, не вы лично, кто-то из ваших.

А вы с нами поговорили? Вы к нам пришли: «Девочки, так и так, расскажите нам честно»? Мы бы что вам сказали? Мы бы сказали: «Не троньте нашего Антона, это же буквально бог, и если его не будет, я не знаю, что будет».

Девушка хлюпнула носом, достала из сумки скомканный платок, отошла к окну и уткнулась лбом в мгновенно запотевшее стекло.

С дивана поднялась другая, сухощавая, в очках.

— Мы вас просим передать вашему руководству мнение всего коллектива. Мы не считаем правильным выступление журнала. Мы комсомолки, работаем и учимся, и мы отвечаем за свои слова. Мы просим вас исправить ошибку и сделать все, чтобы Антон Петрович Туринцев мог спокойно работать. Если надо, мы это подтвердим в письменном виде. Пошли, девочки.

— Извините, пожалуйста, — смущенно улыбаясь, проговорила девушка с «бабеттой», проходя мимо Анны Семеновны.

Оставшись одна, Анна Семеновна принялась, как обычно, перекладывать свои бумаги, но они валялись из рук, смешиваясь в беспорядочную грудку. Такими же беспорядочными и растрепанными были и ее мысли. Впервые за все это время Анна Семеновна поняла, почувствовала, что заслоненный листом исписанной бумаги, листом журнала, желтым скоросшивателем, заслоненный шумом города, голубым лоскутом неба в окне, дверью служебной квартиры мужа, таящей за собой привычные уютные заботы, стоит, сидит, ходит, волнуется, любит и страдает тот самый



молоденький, толстогубый, с нестриженной шеей, тот, кто, оказывается, для этих девушек — «необыкновенный человек, чистый, как стеклышко». И она, Анна Семеновна Белоног, добрая, никому не желающая зла, кроме разве что жуликов, бандитов и поджигателей войны, сама своей рукой, аккуратной, чистой рукой в свежем сегодняшнем маникюре, она мимоходом, между дел и хлопот, причинила этому, может быть, и правда замечательному, а может быть, просто хорошему, влюбленному человеку большое и, вполне вероятно, непоправимое горе.

Она не знала, что надо делать, но твердо знала, что надо что-то делать.

Хлопнула дверь, пришел Фомин. Анна Семеновна бросилась в его кабинет и, торопясь, сбиваясь, с глазами, повлажневшими во время этой речи, принялась рассказывать ему о визите девушек и о том, что она, Анна Семеновна, думает по данному поводу.

— Надо поправить, Сергей Прокофьевич, я готова все взять на себя, ну, напишем, что это я виновата, ну, хотите, увольте меня...

Фомин засмеялся, мальчишеским жестом откинув прядь со лба.

— А ты, дорогая моя, и поверила? И расстроилась? Так ничего и не поняла? Да он просто их подослал, этот преподобный Туринцев. Я уверен был, что так случится. Жаль, тебя не предупредил, не учел твоей слабой нервной системы. Ну ладно, успокойся. Вот смотри, какую писульку нам их совет прислал. «Полностью не соответствует действительности». Брехня, конечно, ты же видишь, девицы-то сами признают, какую он ей там гимнастику стругает. Сейчас пойди погуляй, выпей кофейку, а потом садись и

напиши «По следам наших выступлений». Хотя нет, это надо покрепче написать, это я сам.

Вконец растерянная и убитая, Анна Семеновна вышла на гулкую и жаркую улицу.

#### 4

Появление в журнале «Гимнастика» резкой заметки, в которой Антон Туринцев вновь, с добавлением иных фактов, обвинялся в аморальном поведении, а совету клуба и его председателю И. М. Колюшеву бросался упрек в лжи и замазывании, в какой-то степени поставило в тупик городскую гимнастическую секцию. Руководители секции давно и хорошо знали Колюшева, верили в его административный опыт и поначалу даже мысли не допускали, что он может в чем-то дать промашку.

Илье Мироновичу Колюшеву было близко к шестидесяти, и уж каких только видов не повидал он на своем веку. Очень давно, очень рано он, чрезвычайно заурядный волейболист, был выдвинут на организационно-физкультурную работу и к началу войны стал директором маленького, но бойкого окраинного стадиона. И не случайно его, добровольно ушедшего в августе сорок первого года вместе с товарищами-спортсменами в знаменитую бригаду: Особого назначения, вначале оставили при штабе, где ему надлежало ведать продовольственным снабжением перебрасываемых в тыл противника партизанских отрядов, а через два года и вообще отозвали в запас. Отозвали, поскольку война подошла к перелому, и спортивную работу в пока еще затемненной и завешенной аэростатами ПВО, но уже возвращавшейся

к нормальной жизни Москве надо было налаживать заново. Столица в ту пору была, понятно, бедна кадрами, и это помогло Колюшеву сделать карьеру быстро и без заминок. Однако кончилась война, люди в украшенных орденами гимнастерках вернулись на свои довоенные посты, физкультурное движение стало расти, шириться и приобретать новые формы. И спортивному руководству все чаще начало казаться, что хотя Илья Миронович делен и старателен, но вот ведь есть люди и моложе и инициативнее, а Колюшев на сегодняшний день малость устарел, малость не тянет, малость не соответствует, из чего следуют вполне определенные организационные выводы.

Его путешествие по ступенькам вниз было гораздо медленнее и глаже взлета — с ним все-таки считались, его щадили, а он благодаря своему характеру не копил обид и жене запрещал разговоры о какой-то чинимой по отношению к нему несправедливости и просто-напросто заново учился. Учился легкому, практичному и, быть может, несколько равнодушному отношению к служебным делам, спокойному приятию максимума благ, которые давали любая должность и любая житейская ситуация, и, самое главное, учился беречь здоровье.

Он любил жену, любил приготовленные ею обеды, любил большой двор своего нового дома и всех детей этого двора — собственных у него не было — и непременно спрашивал у мальчишек об отметках и о том, кто за какую футбольную команду болеет, а у девочек, как зовут куклу и не болит ли у нее головка. Он даже подарил мальчишкам списанный за негодностью мяч, чтобы не гоняли они ногами оглушительно грохочущие консервные банки. Каж-

дое утро, колыхая затянутым в хороший шерстяной тренировочный костюм животиком, он совершал пробежку в соседнем лесопарке, а каждое воскресенье после завтрака брал бинокль и шел в этот парк любоваться природой и с умилением наблюдал сквозь линзы, как на пруду тощие энергичные воробьи утаскивают корм из-под самого носа важных дураков лебедей. Наблюдал маленькую птичью жизнь, так схожую с большой человеческой.

Работу свою в последней — наверняка последней перед пенсией — должности председателя совета клуба Колюшев, может, и не любил, но старался, чтобы все у него было в порядке, мирно, без скандалов и если не образцово (образцовых-то иной раз хлестче бьют), то, во всяком случае, надежно. Промашку он, конечно, допустил. Промашку не с Туринцевым — он и после появления второй заметки в журнале был по-прежнему уверен, что шум, затеянный редакцией, выведенного яйца не стоит. Беда, по его мнению, заключалась в том, что он плохо знал редактора журнала Фомина и недооценил, выходит, цепкой и уверенной хватки этого человека. Среди нынешнего спортивного руководства у Колюшева было много приятелей, обращавшихся к нему на «ты» и, случалось, шептавших на ухо увлекательные секреты в служебной ложе на стадионе. Но после окончания матча приятели шли к машинам, а Колюшев — на метро, и ни разу не позволил он себе попросить, чтобы подвезли до дому. Он знал дистанцию, знал и то, что сейчас просить о поддержке попросту бессмысленно. А у Фомина, рассуждал Колюшев, наверняка припрятан в рукаве если не туз, то уж, во всяком случае, валет козырной, иначе он не стал бы так

отважно блефовать. И поэтому лезть на рожон, ввязываться в драку Колюшев побаивался. Жалко было Туринцева, жалко лопухого мальчишку, который, хоть и предупреждали его об осторожности, сам попер — в кабак, понимаешь, попер со своей хахальницей и тут же попался, словно щенок какой-нибудь.

Чувствуя, что Туринцева спасти не удастся, Колюшев по дороге в городской спортивный совет раззадоривал себя, подогревал против этого самоуверенного, грубого и дерзкого парня, не хлебнувшего в жизни лиха, пришедшего на готовенькое и поставившего своим поведением под удар не его, Колюшева, благополучие, нет — Колюшев работник, слава богу, в своем деле не последний, — но всю налаженную Колюшевым работу и репутацию клуба в целом.

На заседании городской секции Колюшев признал, что в данном случае с его стороны имела место утрата бдительности. Но эта утрата объясняется тем, что он, Колюшев, всецело доверился Туринцеву, подавшему в совет насквозь фальшивую объяснительную записку.

— Для всего нашего коллектива, товарищи, это большой урок, — печально и вдумчиво говорил Колюшев. — Часто мы еще, что греха таить, смотрим так: дело идет хорошо, без сучка, понимаете, без задоринки, а человека за этим делом не замечаем, в душу его не заглядываем. И за хорошими цифрами скрываются чуждые нам нравы. Как говорит народная мудрость: снаружи мило, а внутри гнило. Но мы на своем собрании пересмотрели дело. Мы решили уволить Туринцева и поставить вопрос о запрещении ему тренерской работы.

По правде сказать, насчет запрещения Колюшев

придумал только что, сымпровизировал по ходу дела. Он здраво рассудил, что в данном случае лучше перебор, чем недобор, и если какой-либо вышестоящий товарищ скажет ему в глаза, хлопнув по плечу: «Погорячился, старик, лишку хватил», то это пустяки, полбеды, но коль скоро тот же товарищ заглазно заметит: «Сдает наш старик, либеральничает», это уж, пожалуй, беда будет настоящая.

Секция с предложением согласилась. Фомин, лично присутствовавший на заседании, был доволен и в своем выступлении призвал собравшихся еще больше крепить контакт между спортивной общественностью и печатью.

Анна Семеновна Белоног на заседание не пришла. А на следующее утро она подала Фомину заявление об уходе.

Заявление она писала дома. И здесь у нее не было под рукой тех больших нелинованных бумажных листов, которыми пользуются обычно журналисты, — прежде ее удивляло, как это строчки получаются у них такими ровными, и она покупала в писчебумажных магазинах специальные четко и жирно расчерченные трафареты, что подкладываются под бумагу для аккуратности письма, а потом привыкла, и буквы тоже стали выходить у нее одна к одной, под линейку. А сейчас Анна Семеновна вырвала клетчатую страницу из школьной тетради сына, и от необходимости писать на ней еще острее почувствовала, что никакой А. Ясной больше нет. Нет, и все.

«Я прошу уволить меня, так как я поняла», — вывела Анна Семеновна и зачеркнула эту строчку. И задумалась.

Взглянуть со стороны: сидит не очень молодая, но очень милая черноглазая женщина в домашнем байковом халатце, сидит себе и, склонив голову набок, легонько поглаживая мизинцем едва заметную морщинку на гладком белом лбу, размышляет о чем-то уютном и несложном. О том, например, стоит ли переставить торшер из спальни в столовую. Либо о том, мелко или крупно крошить лимонную цедру для праздничного пирога. Либо, наконец, оторочить ли кружевцем ворот нового платья.

На самом же деле мысли Анны Семеновны, вовсе не привыкшей к последовательному и жестокому самоанализу, выстраивались в логическую цепь трудно и непокорно, а выводы, к которым она неожиданно для себя приходила, причиняли ей чуть ли не физическую боль.

Вчера вечером, когда сотрудники редакции разошлись по домам, Фомин вошел в большую комнату, прилег на диван, показывая этим, что разговор предстоит дружеский и неофициальный, глубоко затянулся сигаретой и ласково сказал Анне Семеновне:

— Переживаешь? Это школа, милая моя, это тебе хар-рошая школа. Ты пойми все правильно. Может быть, конечно, процентов на тридцать — не на сто, заметь, а на тридцать — мы в чем-то ваньку сваяли. Перехватили в смысле резкости оценки. Пусть там у них не аморалка в чистом виде. Пусть любовь, и сирень, и прочие, так сказать... атрибуты. Но ведь дело не в том, как называть. Дело в сути. Имеет место факт или не имеет? Имеет. Вредит работе? Вредит. Девчушка-то к нам забегала — как ее, Самохина, да? Сигнализирует, ничего не попишешь. И по-

том, друг ты мой милый, есть еще одна штука, которую никак нельзя не учитывать. Вот мы с тобой ходим по улице и видим разные неполадки и неурядицы, верно? В магазине тебя кассирша обчитала, в автобусе теснотища, каких-то там чулок — со швом или без шва, тебе виднее — достать нельзя, верно? Ни тебя, ни меня эти неполадки не заставят потерять веру в главное. Главное, ты поняла? Мы же люди идейные, нас не свернешь. Но разве мало других — неустойчивых, незрелых, разных обывателей? И вот они-то на основании мелочей — шу-шу, шу-шу, и в целом создается неверная картина. Возьми теперь нашу печать. В частности, наш с тобой журнал. Мы делаем большое и важное дело. Государственное. Мы приносим огромную пользу, проводим кампании, ведем заочный университет, наш авторитет растет, и это видно по тому, как увеличивается наш тираж. Все в порядке. Но вот приходит ко мне в один прекрасный день Анна Семеновна — не журналист Ясная, а просто некая Анна Семеновна, которой, видишь ли, жалко стало, обидела она, видишь ли, несчастного Туринцева, душа у нее болит, что мы, злодеи, его с любезной разлучить решили. «Давайте, Сергей Прокофьевич, признаемся, давайте покаемся, сами себя публично высечем и предстанем перед всем честным народом голенькими», так? Я не злодей, нет. Просто мне с моей колоколенки дальше видно, чем тебе с твоей. Я вижу последствия. Сегодня мы себя в клеветники записали, завтра — во врунишки, послезавтра... А потом? А потом, милая моя, из-за такой вот блохи мы вообще утратим авторитет перед народом. И нанесем ущерб делу, которое нам поручено делать и которое мы делаем. И чтобы это-



го не случилось, приходится иной раз поскрипеть зубами. А у тебя зубки молодые, выдержат.

Так говорил Фомин, и выводы его казались Анне Семеновне убедительными. И было это еще вчера. Но заслоненный этими доводами человек, тот самый Туринцев, вспомнился сегодня ей в утреннем полусне, вспомнился во всей правоте его обиды и в общем незаслуженности нанесенного ему удара. И, не проснувшись, видно, как следует, она решила было ехать к Туринцеву. Ехать, говорить с ним, объясняться — хотя бы теми словами, которые она услышала от Фомина. Но что эти слова Туринцеву? Что они могут изменить, что облегчить, что исправить? Ничего. Абсолютно. Выходит, ехать она собралась для того, чтобы самой оправдаться перед загубленным ею человеком? Чтобы он простил ее, да? Простил и остался со своим несчастьем, а ей стало бы легче?..

Короче говоря, понятно ей сделалось только то, что во всем виновата она одна. Даже Фомин признал, что редакция «ваньку сваяла». И если умный и честный Фомин вынужден оборонять доброе имя журнала, то это только потому, что некая глупая баба заварила кашу, которую сама расхлебать не в состоянии. Туринцев из-за нее страдает, и Фомин страдает, и он мог бы просто выгнать ее из редакции на все четыре стороны, но не делает этого по доброте, потому что жалеет ее. Как же теперь ей жить, как смотреть в глаза людям?

«Так тебе и надо, — сказала она себе. — Так и надо. Не можешь — не лезь. Сиди на кухне. Вари. Жарь. Стирай. Убирай. Бог знает до чего ты все это запустила. А у тебя дети и муж. И все. Точка».

Она решительно придвинула тяжелую мраморную

чернильницу, обмакнула в нее школьную ручку и написала: «Прошу освободить меня от занимаемой должности». Подумала и приписала: «По собственному желанию». Насчет «желания», очевидно, было лишним, но в мире, из которого она намеревалась уйти, была принята именно такая формулировка. «Прошу... от должности... по желанию».

Она изо всех сил надавила на ровные лиловые строчки огромным пресс-папье, сложила бумажку и сунула ее в портфель.

...Николай Иванович Белоног отнюдь не забыл разговора с женой. Он почувствовал во время этого разговора, что происходит какая-то несправедливость, в которой по житейской неопытности и женской недалёковидности замешана его Анна Семеновна. И как человек, в котором служба в армии и долгий партийный стаж выработали общественную жилку, он встревожился и даже на работе нет-нет да и возвращался мыслями к беде незнакомого ему парня. Когда после долгих колебаний Анна Семеновна сказала, наконец, ему о своем решении уйти из редакции, Николай Иванович встал из-за стола, скомкав, бросил на пол только что взятую из прачечной салфетку и в сердцах зашагал по столовой.

— Нашкодила — и в кусты, — буркнул он, не глядя на жену, из растерянных глаз которой быстро-быстро закапали и расплылись на скатерти слезы, единственные ее аргументы. — Дура.

Анна Семеновна заплакала еще пуще. Очень редко говорил ей муж такие суровые и жестокие слова. А он сел, ковырнул котлету, отшвырнул вилку и

ушел к себе, только ключ в замке хрустнул. Хорошо еще, ребята в школе задержались.

Посидев за письменным столом и полистав, чтобы успокоиться, потайные заготовки к работе об армии, Николай Иванович пришел к выводу, что жена в силу своего характера (какая там сила!) иначе поступить не могла. Она, может быть, поревет и поволнует, но никуда за обиженного ею человека хлопотать не пойдет. Не пойдет хотя бы потому, что в голове у нее, как выяснилось, самая дурацкая путаница, что свидетельствует об абсолютной запущенности воспитательной работы в этой самой ее редакции, и больше того, о неправильных, вредных тенденциях. Но редакция редакцией, а главный виновник всей истории — он сам, генерал Белоног. Николай Иванович зло корил себя за то, что, подтолкнув жену на журналистский путь, он в дальнейшем не интересовался ее мыслями и взглядами, не влиял на их формирование, не руководил ее чтением, а читала она мало и в серьезные теоретические работы, должно быть, даже не заглядывала. Отсюда — утрата принципиальности и четкого понимания главного курса. В том, что Анна Семеновна ему рассказала, много бабьей сентиментальности, но нет ясного сознания того, что по пустяковому поводу нанесен ущерб делу, которое делал хороший и полезный, судя по всему, специалист. И он, Николай Иванович, он, генерал Белоног, разве вправе он просто сидеть и ворчать, а не действовать и не бороться за справедливость?

Сформулировав для себя стратегическую задачу, Николай Иванович окончательно успокоился и принялся за свои заготовки, решив в педагогических

целях раньше позднего вечера из кабинета не выходить. На следующее утро он вызвал машину, позвонил на работу, что задержится, и отправился в районный комитет партии. Его выслушали, вовсе, разумеется, не удивившись тому, что он вмешивается не в свое, казалось бы, дело, — в разговоре с ним сразу становилось ясно, что чужих дел для него нет. Выслушали и обещали разобраться.

Через несколько дней он заехал снова. Инструктор райкома объяснил ему, что, разумеется, в деле Туринцева имел место определенный перехлест. Хотя, с другой стороны, руководство клуба «Рассвет» в лице его председателя признало, что сложившаяся в гимнастической секции обстановка требовала известного оздоровления. Опять же надо заметить, что сам Туринцев, приглашенный для откровенного товарищеского разговора, замкнулся в себе и от разговора уклонился. Разумеется, никто не вправе понуждать человека высказывать свое сокровенное, но подобное молчание, само собой, не говорит за то, что на душе у тренера Туринцева все чисто и ладно. Как бы то ни было, пункт о запрещении преподавания из решения изъят, и Туринцеву предоставлена работа по специальности — учителем физкультуры одной из школ.

Генерал Белоног счел такое решение правильным.

## 5

Туринцев заканчивал последнюю тренировку. Вернее, заканчивал ее уже не он, а новый руководитель секции, старательный молодой парнишка, только-только с институтской скамьи. Все два часа занятий

они вместе ходили от снаряда к снаряду, и Антон незаметно, пожалуй, даже непроизвольно водил ладонью то вдоль брусьев, то по бревну, а паренек, чувствуя и уважение к Антону, и жалость, и вместе с тем опасаясь за свой будущий авторитет, давал девушкам указания примерно так:

— Выше, выше тяните носок. Как вы считаете, Антон Петрович, несомненно, ведь надо выше?

— Да, — говорил Антон, — несомненно. Наташа, вся вверх пошла, вся — взрыв, ясно?

— Ясно, — отвечала Наташа Кочеток, легонько шмыгая носом. — Можно, я еще разок, Антон Петрович?

— Да, да, еще раз, и так, знаете, с полной сосредоточенностью, с полной отдачей, ну, я в вас уверен, — чеканил новый тренер.

Потом он построил шеренгу, скомандовал «разойдись», пожал руку Антону и попросил заходить.

— Вы не думайте, что это я так, из вежливости. Вы с ними здорово умеете. У нас, конечно, в институте тоже была солидная подготовка и по теории и вообще, но вон вы как этой очкастой — «взрыв», и все, и понятно. Это я обязательно себе запишу, про «взрыв».

Он ушел, а к Антону подбежала Валя Жидкова.

— Петрович, пошли, только быстро, и ничего, пожалуйста, не возражайте, я с вахтершей договорилась. Пошли, а то ждут.

В комнатке вахтерши на застеленном газетой столе стояли три или четыре бутылки вина, лежал кулек с конфетами, несколько пирожных и большой мятый персик. Вокруг стола чинно сидели его девчонки —

по двое на стуле. Эли, слава богу, не было. Не было и Самохиной, а так полный сбор.

— Это что за цирк? — ворчливо спросил Антон. — Немедленно убирайте.

— Петрович, лапонька! — взмолилась Жидкова. — Мы же прощаемся, вы же для нас столько сделали, и мы буквально стольким вам обязаны, лично я, например, вас считаю за отца, у меня ведь нет отца, а с вахтершей мы договорились, и вы даже не думайте ничего дурного, тут же двенадцать градусов, делов-то всего ничего, да и все равно откупорено, что же, выливать?

Но Антон оставался Антоном, нудным и упрямым. Он подошел к столу, завернул в газету пирожные, сунул их в чей-то раскрытый чемоданчик и жестом показал Жидковой на вино — забирайте.

— Эх, где наша не пропадала, а вы нам теперь не начальник, — сказала Жидкова и, взболтнув бутылку, отпила прямо из горлышка. Поморщилась, вытерла рот ладонью.

— Все-то не по-человечески, — вздохнула она и села, свесив руки.

Молча сидели и остальные. И было тягостно это молчание, и никто не решался нарушить его, и уйти никто не решался, потому что нельзя было уйти вот так, без слов.

— Я теперь вообще брошу эту секцию к чертям собачьим, — сказала Жидкова.

— Глупо, — сипло отозвался Антон. — Тебе мастера в этом году выполнять. Ты только соскок подработай с брусьев. Научись расслаблять голеностоп — чуть-чуть, самую малость, помнишь, как я показывал?

Ах, если бы она или кто-нибудь другой сейчас предложил: «Пойдемте, Антон Петрович, обратно в зал, потренируемся. Будем заниматься, как будто ничего не случилось, как будто все, как прежде...!»! Но никто не догадался, потому что, наверное, для него одного все это было самым главным. Да и зал занят, и чья-то чужая звучит там музыка, и чужие шаги, и вообще, Антон Петрович, если бы да кабы, росли бы во рту грибы, вчерашний день не лови — не поймашь.

— Сами вы голеностоп, — невесело хмыкнула Валя Жидкова.

А Светлана вдруг заплакала. Она трясла головой и терла щеки растопыренными ладонями, и было под ладонями темно, и Антон мимоходом подумал, что зря это он раньше не замечал: красится Светлана, а ведь школьница еще, надо бы с нее стружку снять. Надо было снять стружку.

— Ладно, — шлепнул он ладонью по газете, заменяющей скатерть. — Где там, Валя, твои стаканы?

— Давно бы так, — Валя сощурилась, с привычной, видать, точностью разлила вино. — Глаз — ватерпас, верно? Так за что пьем, Петрович?

— За встречу, — сказал он и заставил себя улыбнуться. — Ну, что мы приуныли, что, в самом деле, стряслось? Я ведь жив, не умер, что вы меня хороните? Буду работать, и будете вы ходить ко мне тренироваться, я еще из вас таких мастеров наделаю — первый класс. Значит, за встречу.

Шагая домой под унылым осенним дождем, Антон размышлял о том, что это, в сущности, хорошо, когда у человека привычка выглядеть на рубль двадцать,

если настроение на пятак. Вот ведь развеселились же девчонки, как он им только сказал, что еще можно тренироваться вместе. Будут ли эти тренировки, нет ли — неизвестно, но в тот момент им казалось, что обязательно будут, и они развеселились. Правда, пятак есть пятак, и хорошо бы, честно говоря, не этого слабенького винца, а чего покрепче тяпнуть сейчас с какими-нибудь развеселыми приятелями, но никаких таких приятелей у него нет, что, пожалуй, объясняется его неумением выносить горе на люди и напиваться по этому поводу.

Он хотел было позвонить Эле, но вовремя сообразил, что лучше пусть скверный вечер будет у него одного.

С Элей вначале они встречались часто. Она звонила ему, заставляла видаться, таскала в кино, на пляж, приглашала, хотя и безуспешно, к себе домой и даже у него, несмотря на соседей, бывала. Деловито выкладывала из спортивной сумки хлеб и любимую им ветчину и принималась убирать аккуратную прежде, а в ту пору невообразимо захламленную комнату: Антон бог весть зачем пытался каждый день по-новому разложить и рассортировать свои рисунки и записи и многое выбрасывал, и это Элю пугало.

На чемпионате страны Яковлеву заметили, и спортивная газета витиевато, хотя не слишком понятно, назвала ее вольную композицию на музыку Рахманинова «квинтэссенцией мастерства и одухотворенного поиска». Федерация гимнастики тоже заинтересовалась Яковлевой, ее было решено включить кандидатом в сборную команду страны и направить на тренировочный сбор для подготовки к большому за-



рубежному турне. Ее вызвали для оформления документов, и во время беседы некое ответственное лицо осторожненько предупредило Элю о том, что одно время вокруг ее фамилии велись кое-какие не совсем желательные разговоры. Оно, это лицо, не станет вторгаться в чужую судьбу — мало ли что бывает по молодости лет, — но хотелось бы посоветовать юной гимнастке, только начинающей в большом спорте свой путь, наверняка в будущем увлекательный и почетный, хотелось бы порекомендовать ей хранить репутацию в абсолютной чистоте, как и надлежит человеку, который на виду.

Сбор был под Москвой. Антон проводил Элю до электрички, девушка чуть заметно повела взглядом по сторонам и быстро и крепко поцеловала его в губы. Вошла в вагон, выглянула из окна, положив локти на полуоткрытую раму и голову — боком на них, в привычном, тысячу лет знакомом Антону повороте.

— Ты иди, не жди, ладно? Приезжай в субботу. Ну, — глубоко-глубоко посмотрела ему в глаза своими серыми, круглыми, печально-пристальными, — ну, Тош, все в порядке?

— Все в порядке. Будь умницей.

— Ты тоже.

До отхода оставалось еще минут десять, но Антон ушел, и не потому, что она об этом просила, а из-за того короткого взгляда по сторонам, который бросила она перед поцелуем. И правильно сделал, что ушел. В конце перрона встретил он одного из тренеров сборной страны, старого и важного человека в легкомысленно пестрой тенниске, и тренер этот, мало с ним знакомый, неожиданно внимательно посмотрел ему в лицо — внимательно и знающе, и даже, кажет-

ся, подмигнул, давая понять, что ему ведомо, зачем здесь очутился Антон. Может быть, конечно, Антону все это показалось. А может быть, и не показалось.

Антону очень хотелось поехать к Эле в субботу. Больше того, ему нужно было непременно сказать ей, что арабское сальто во второй трети упражнения следует делать резче, а потом переходить на замедление, на «березку», выражаясь их собственным языком. Все это было нужно, но он представил себе, что такими же точно взглядами, как этот старый тренер, встретят его спортсменки сборной. И потом они будут подходить к Эле, расспрашивать и сочувствовать, а она не любит, чтобы ей сочувствовали, для нее, как и для него, это самое худшее. И он увидел, как круто вырвав плечи из чьих-то ласковых утешительных объятий, отойдет она, уйдет, убежит куда-нибудь в лес и будет бродить там, ломать тугие сырые ветки, сдирать с них кожуру, мочалить зубами горьковатое дерево и думать совсем не о том, о чем положено ей думать на этом ответственном и почетном для нее сборе.

Антон смял картонный билетик и забросил его под колеса нетерпеливо дрожащей электрички. И тут же на вокзале написал Эле открытку: «Прости, не мог вырваться. Подумай над второй третью в вольных: после арабского — «березка». У меня все по-прежнему. Если нужна помощь, напиши. Ешь меньше мяса и больше молочного. Пока все дождик, но будет и радуга. Крепко жму руку. Всегда твой А. Туринцев». В таком виде открытку мог читать кто угодно.

Она ответила: «Я знала, что ты не приедешь. Но то, что ты думаешь сейчас, ты думаешь напрасно. У меня тоже по-прежнему. С «березкой» выходит лучше, но Павел Кузьмич говорит, что замедляться не надо, а, наоборот, работать в темпе. У нас цветут астры. Много тренируюсь. Прости, спешу на общефизическую. Пиши мне лучше «до востребования». Целую. Я.»

Антон прочел и грубо выругался. Замедляться не надо! Темп ему подавай! Не душу, не характер — темп! Осел, скот, дубина, он же загубит ее! А что делать, что может сделать рядовой учитель физкультуры с не очень благовидной репутацией?

Между тем время шло. Эля уехала с командой за границу, прислала пару торопливых писем, вернулась, позвонила, и после этого они с Антоном виделись раз-другой, но разговоры были обрывочны, нужные слова не находились, и радости эти встречи не приносили. Антон видел, что у Эли началась своя, более хлопотная и увлекательная, чем прежде, жизнь, и понимал все яснее, что ему, отторгнутому от главного в этой жизни, остается в ней все меньше и меньше места.

Спустя год лучшие гимнастки страны вновь собрались в Москве, чтобы начать подготовку к первенству мира. Узнав, что во Дворце спорта, в одном из его тренировочных залов, состоится прикидка для предварительного определения состава команды, Антон, и боясь встречи и пытаясь доказать себе, что его интересует одно — как выглядит сегодня расхваленная газетами Яковлева, — отправился на эту прикидку.

Когда он вошел в огромный зал, одну из стен

которого сплошь занимала голубая плоскость окна, семь гимнасток стояли шеренгой, отражаясь на фоне голубизны в высоком и длинном зеркале. Они выстроились по росту, и место Эли пришлось на правом фланге, между традиционно печальной Полиной Астаховой в высокой прическе с искусно отделенной прядью и курносой улыбчивой Ларисой Латыниной. «Вон куда залетела!» — восхищенно и грустно подумал Антон. Он примостился на низкой скамеечке у окна. Чуть поодаль, впивая расширенными глазами то, что происходило в зале, сидела, приклеив узкую спину к стенке, совсем еще девочка в гимнастическом трико. «Должно быть, тоже с какого-нибудь сбора, — догадался Антон. — Пришла полюбоваться «звездами». И сама не своя и даже не завидует, только думает: «Господи, неужто и я смогу когда-нибудь быть такой счастливой?»

Началась разминка. «Гнисть, гнисть побольше», — мимоходом бросил Латыниной старый и уверенный в себе тренер с болтающимися по штанам полами рубашки. «Возраст не тот. Это вон Танечка да Элечка могут», — отшутилась она, показав белый полумесяц своей знаменитой улыбки.

Прыжки не давались никому. Две ответственные женщины из федерации недовольно переговаривались и ставили в своих блокнотах, должно быть, очень нелестные оценки. «Глупо все это, — подумал Антон. — Только что начался сбор, и уже прикидка. Так недолго и задергать». И действительно, блокноты и очки ответственных женщин, особая, деловитая хмурость и сосредоточенность тренеров волновали и сковывали спортсменов. Даже ладная коренастая Елена Волчецкая, признанный мастер гим-

настического прыжка, приземляясь, плюхалась на пятую точку и скользила по матам, гневно морща широкий самостоятельный нос. А Таня Антонова, растущая знаменитость со Стадиона юных пионеров, упав несколько раз, тихо-тихо понесла в дальний угол набухшие глаза обиженной первоклашки.

Только двое из сборной уже после того, как женщины с блокнотами, благоухая «Красной Москвой», ушли совещаться, продолжали прыгать и прыгали до тех пор, пока попытки не удались стопроцентно. Двое — это Софья Муратова, самая старшая в сборной, научившаяся за долгую жизнь в спорте не щадить себя и доводить дело до конца, и бледная, сосредоточенная, никого вокруг не замечающая Эльвира Яковлева.

Готовились к следующему снаряду — брусьям. Полина Астахова горделивой походкой, наклонив голову с упавшей на лоб золотистой прядкой, коротко взмахивая сухими руками, сосредоточенно ходила в сторонке, и на восковом ее виске трепетала голубая веточка вены. Латынина, как обычно, смеялась и шутила. Выходя на попытку, она громко, подражая цирковым шпрыхсталмейстерам, объявила: «У брусьев — Латынина и Смирнов». И тренер Смирнов, молодой, стриженный, как новобранец, заулыбался, показав большие золотые зубы, и все заулыбались, и напряжение прикидки немного ослабло. А в самой середине упражнения, после какого-то особенно головокружного поворота, Латынина присела на нижнюю жердь, вытянула ноги, поболтала ими: «Ох, господи, тяжело!» И все поняли — вовсе ей не тяжело, просто она дурачится, потому что знает: когда надо будет, она все это выполнит, и еще

второе потруднее — тоже. А соскочив, она подошла к своей подруге, худой и большеглазой ленинградке Тамаре Маниной, подмигнула: «Что, обставила я тебя?» И опять потеплело в зале.

На бревне Антон Элю не узнавал. Не в том дело, что она два раза падала. Он понимал — никто еще не готов, на нынешней тренировке можно увидеть лишь завязь будущих плодов. Антону не понравилась как раз излишне четкая и сухая отделка тех элементов, которые особенно удавались Эле. «Скупится, — подумал он. — Все на «тютелька в тютельку», на надежность, а души нет, и характера тоже не видно». Исчезло то, что прежде одухотворяло гимнастическую работу его ученицы. «Вот ведь может Астахова, — думал он, — может показать просто небрежный еще эскиз, набросок, а один кусочек взять и пропеть в полный голос, и сразу понимаешь — вот что это готовится, и вот кто Полина Астахова с ее нежной и задумчивой натурой». А Эля была не та — совсем другая была Эля. Хотя она явно понравилась руководящим женщинам больше всех других.

И вольная ее комбинация, которую остальные гимнастки смотрели весьма внимательно: Латынина — улыбаясь и быстро шепча что-то Маниной, Муратова — сжав губы и прикидывая нечто свое, Астахова — застыв на углу ковра, словно струйка дыма в тихую погоду; эта комбинация, которую наизусть, от медленного «Еще в полях белеет снег» до бурной концовки «румяный, светлый хоровод толпится весело за ней», помнил Антон — все это было то, да не то.

Потом он не вытерпел, подошел к ней, выбрав минуту, когда она оказалась в стороне от других.

— Ой, как хорошо, что ты здесь! — она замотала головой, и челка взлетела и опустилась на влажный лоб. — Даже не представляешь, как хорошо! Ну как я, Тошка, ты все видел? Как?

— Слушай, а почему ты на бревне фляк не делаешь? Помнишь, там было — все дождик, дождик, а потом радуга?

Она незнакомо сощурилась.

— Понимаешь, Тошка, очень много нервов на него уходит. Трудный он, а судьбы как-то не замечают. Ну, какой смысл?

«Забыла. Все забыла: и радугу, и водопад, словно родной язык забыла, — со страхом подумал Антон. — Забыла, как же это, я ведь виноват! Плевать бы мне на самолюбие, ездить, домогаться, лезть, это же мое, как я мог?»

— Извини, Тошенька, меня зовут. Ты подожди меня, ладно? Смотри, подожди, дай честное слово, что не уйдешь.

И она убежала.

Он ждал.

Она подошла.

— Тош, как обидно, нас увозят. Слушай, у тебя в школе зал есть? Можно, я приду к тебе позаниматься? Завтра в семь. Хотя нет, завтра у нас прием. В общем я тогда позвоню, когда смогу, ладно?

— Ладно, — сказал Антон сквозь сжатые до боли зубы. — Сможешь — придешь.

Зал опустел, и только та девочка, что просидела в своем углу всю тренировку, впивая взглядом жизнь людей взрослого, красивого и счастливого мира, стояла сейчас у брусьев, крепко ухватившись за них, выгнув спину подобно маленькому трепетному луку,

закинув строгое лицо с сильно-пресильно зажмуренными глазами, — вспоминала.

Антон мимоходом взглянул на нее, сделал шаг к выходу и обернулся. И посмотрел снова. Подольше. И осторожно, чтобы не помешать, затворил за собой дверь. Постоял на площадке и улыбнулся. И медленно пошел вниз, все еще улыбаясь чему-то своему.

Часа два спустя Антона Туринцева видели на набережной. Он прислонился к парапету, и мимо него плыли черные баржи и белые речные трамваи, но он явно не видел их, а все только кивал и качал головой, словно в такт какой-то в нем самом звучащей музыке, и рисовал пальцами в воздухе одному ему понятные вавилоны.

Все-таки он псих, этот Антон Туринцев...



# ВАКАНТНОЕ МЕСТО



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Еще в полях белеет снег...	5
Вакантное место . . . . .	83

*Токарев Станислав Николаевич*

ЕЩЕ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ... — ВА-  
КАНТНОЕ МЕСТО. Две повести. М., «Моло-  
дая гвардия», 1966.  
208 с., с илл. Р2

Редактор *В. Победоносцев*  
Художник *В. Гаврилов*  
Худож. редактор *Ю. Хамов*  
Техн. редактор *А. Бугрова*

А12166. Подп. к печ. 4/III 1966 г. Бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печ. л. 6,5(9,1). Уч.-изд. л. 8. Тираж 65 000 экз.  
Заказ 2715. Цена 33 коп. Т. П. 1966 г., № 50.

Типография «Красное знамя» издательства  
«Молодая гвардия». Москва, А-30, Суцевская, 21.

